

Б И Б Л И О Т Е К А

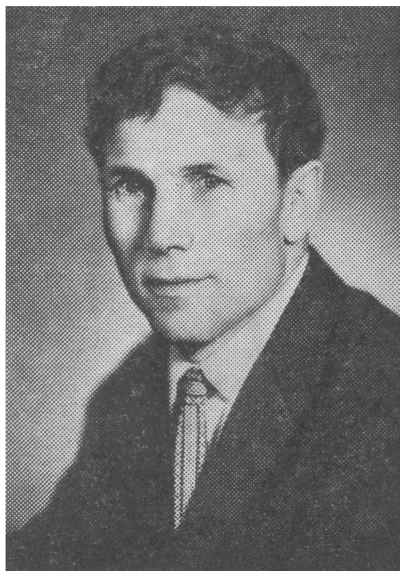
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 8

1985



*Семен ШУРТАКОВ*

*НЕСМОЛКАЕМАЯ  
ПЕСНЯ*

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 8

---

Семен ШУРТАКОВ

# НЕСМОЛКАЕМАЯ ПЕШНЯ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1985

## Семен ШУРТАКОВ

*Семен Иванович Шуртаков родился в селе Кузьминке Горьковской области в крестьянской семье.*

*По окончании семилетки работал в Сергачской МТС трактористом, комбайнером, затем служил на Тихоокеанском флоте, где и напечатал свои первые рассказы.*

*После демобилизации С. Шуртаков учился в Литературном институте имени А. М. Горького и окончил его в 1951 году.*

*С. Шуртаков — автор более двадцати книг прозы; среди них сборники повестей и рассказов «Трудное лето», «Первое свидание», «Где ночует солнышко», «Кузьминские сады», «Одно на всей земле», «Возвратная любовь», «Там, за небосклоном».*

*В итоге многочисленных поездок по стране и за рубежом им написаны книги очерков: «Слово о хлебе», «Село Андросово: пошел отсюда род Ульяновых», «Путешествие на край света», «Франция вблизи» и другие.*

*Недавно в издательстве «Современник» в серии «О времени и о себе» вышла книга критики и публицистики «Мысль и речь».*

## ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ

### 1

Зина проснулась и, еще не открывая глаз, почувствовала, как губы ее сами собой растягиваются в улыбку. С чего бы это? День вчера был, как и все дни, — ничего особенного. Присниться ей тоже ничего радостного не приснилось — просто река в половодье, и все. Может, выпалась хорошо? Да нет, мать корову доит, значит, еще стадо не угнали, только-только рассвело...

Зина откинула одеяло и спрыгнула с кровати. Сладко зевнула, потянулась с хрустом и, сбросив майку, в одних трусиках пошла умываться. Умывальник висел рядом с чуланчиком, в котором спала Зина.

Холодная, из колодца, вода весело жгла теплое и мягкое со сна тело, от каждой пригоршни сердце испуганно замирало и по коже пробегала колючая дрожь. А Зина плескала воду на спину, дожидалась, пока та ледяными струйками стечет с шеи, с груди, и снова набирала целые пригоршни...

— Зинка, ты, что ли, балуешься умывальником? — послышался со двора голос матери. — Перестань, не маленькая.

Зина сняла с деревянного гвоздика полотенце и начала утираться. Удивительное дело: мать на нее ворчит, а ей от этого будто еще веселее становится...

На дворе прогорланил петух, густо и протяжно замычала корова, а где-то в конце улицы щелкнул кнутом, как выстрелил, пастух. Обычные звуки просыпающегося села. Но нынче и они для Зины были волнующи и радостны.

Надевая лифчик, Зина провела руками по шее, по прохладным, упруго выскользнувшем из-под ладоней грудям, по животу, и, может быть, в первый раз подумала, что у нее крепкое, статное тело, красивые округлые плечи, сильные руки. И это сознание полноты своего здорovia и молодости тоже было новым и радостным.

С подойником вошла в сенцы мать.

— Какой бес это тебя нынче поднял? То так не добудишься, а тут, гляди-ка, сама вскочила.

— Петух, мамка, петух у нас больно горластый, он разбудил.— Зина обняла мать за плечи, прошла с ней шаг-другой, а потом схватила с полки кружку и с маху зачерпнула теплого пахучего молока.

— Сдурела.— Мать сделала вид, что замахивается на Зину свободной рукой.— Прочедить же надо.

— Такое вкусней,— весело ответила Зина, залпом выпила всю кружку и выбежала на крыльцо.

Росный луг искрился под лучами низкого, светившего по земле солнца. На плетнях, на кустах смородины, на яблоневых ветках — везде дрожали серебряные капельки. Радуясь поднимающемуся солнцу, на все лады пели-разливались в кустах птицы.

А Зина слушала, широко открытыми глазами глядела вокруг, и ее не покидало ощущение, что все это — для нее. И солнце всходит для нее, и луг блестит для нее, и птицы поют для нее. Как только раньше не замечала она этой утренней сияющей красоты!..

На улице показался Василий Михайлович. Он шел вдоль порядка, звучно похлестывая таловым прутиком по голеницам своих кирзовых сапог, оставляя на траве темную дорожку.

— Никак уж собралась, егоза? — Василий Михайлович остановился перед крыльцом и двинул указательным пальцем козырек фуражки снизу вверх, отчего доброе и мягкое, в крупных морщинах лицо приняло удивленное и вместе несколько петушиное выражение.— Вот бы все так. А то вон Фроську еле добудился. Заперлась в своей мазанке — и хоть дверь выламывай... Прогуляете, черти преподобные, до самой зорьки, а потом...

На задах будто кто и раз и два провел палкой по частоколу — заводили мотор комбайна.

— Вам сигнал подают,— кивнул в сторону комбайна Василий Михайлович.— Правда, росища нынче... Чего смеешься-то?

— Да нет, я ничего, дядя Вася.

— То-то, ничего. Сияешь, как новый пятиалтынный... Ну, пошел дальше.

Зина постояла еще немного на крыльце, а потом взяла прислоненные к стене дома двурогие деревянные вилшки и, вскинув их на плечо, тоже пошла улицей в ту сторону, откуда пришел бригадир.

Фроська сидела на пороге мазанки и с закрытыми глазами расчесывала свои вьющиеся, с рыжеватинкой волосы.

— Добираешь? — голосом Василия Михайловича спросила в самое ухо Зина.— Гулять надо поменьше, черти преподобные...

— Напугала, шалая,— отшатнувшись и открывая слипающиеся глаза, проворчала Фроська.— И чего вы все ни свет ни заря вполосились. Все равно же... не пойдет сейчас... Роса...

Пока Фрося договаривала, глаза у нее постепенно сами собой закрылись, и рука с гребенкой остановилась где-то за ухом.

— Да очнись ты, засоня! — Зина подхватила подругу и закужила по траве.

— Самое время для танцев... бить-то вас некому, — зашумела в окошко Фросина мать.

Теперь Фрося проснулась уже окончательно. А когда еще поплескала на лицо из умывальника да съела свежий, прямо с грядки, огурец — совсем развеселилась.

Узенькой тропкой через Фросину картошку девушки вышли в поле. Оно начиналось сразу же за приусадебными участками.

Полевой простор лежал широко, бескрайно, и хорошо было, обнимая его взглядом, уноситься по золотому разливу хлебов, через редкие овражки и лощины, все дальше и дальше в ту манящую дальнюю даль, что таится у самого горизонта, у того места, где земля сливается с небом. И дорога, то раздвигая хлеба, то теряясь, пропадая в них, казалось, ведет все в ту же бесконечную зовущую даль.

— Утро-то какое хорошее, Фрося, — не удержавшись, воскликнула Зина. — Видно-то как далеко!..

— Утро обыкновенное, — звонко похрустывая огурцом, ответила Фрося рассудительно и строго. — А если бы и не так далеко было видно, беда невелика. Нам с тобой все равно, зажмурившись, солому ворочать...

— Какая ты нынче, — укоризненно сказала Зина, но вместо того, чтобы рассердиться на подругу, обняла ее за плечи и прижалась к ней.

— Я-то какая была, такая и есть, — так же сердито и холодно пророчала Фрося. — А вот ты нынче определенно ненормальная...

Справа хлебная стена разом оборвалась, дальше лежал уже наполовину убранный участок ржи. На углу участка стоял комбайн.

Завидев девушек, комбайнер Иван Фомич зычно скомандовал:

— По-о местам!

Росту Фомич был небольшого. Лицом тоже не вышел — нос, как пуговица, и под ним пышные, вразброд, всегда встопорщенные усы. А вот голос — голос у Фомича был, как труба: скажет что-нибудь поблизости — аж в ушах засвербит. Другие комбайнеры звоочки, гудки, всякую сигнализацию приспособливают. Фомичу это ни к чему: и гул мотора и грохот молотилки он легко перекрывал своим великолепным басом.

Фомич завел мотор, девушки наново повязали головы платками, оставив только небольшие щелки для глаз, и полезли на соломокопнитель.

Вздрогнула молотилка, зашелестели ремни, и загремели цепи, загудел барабан, и агрегат тронулся. По клавишам транспортера бесперывным молочно-желтым потоком потекла в копнитель солома.

Перед обедом на одном из поворотов комбайн остановился. Кто-то заговорил с Фомичом. Зина прислушалась, и сердце у нее прыгнуло в груди и забилось часто-часто. И без того горячему лицу стало еще жарче, и она оттянула платок с носа на подбородок.

Перед комбайном стоял агроном — рослый парень в светлых брюках и сиреневой тенниске. Пышные темные волосы агронома придерживала на затылке пестрая веселая тубетейка.

Разговор шел о переезде на новый участок. Агроном говорил, что переезжать надо на то поле, что за дорогой.

— А Никифор Никанорыч, помнится, наказывал, что после этого у Крутой Стрелки убирать.

Никифор Никанорович — председатель колхоза и отец Зины, и все равно ей хочется крикнуть на упрямого Фомича: чего еще рассуждаешь! Небось агроном лучше твоего знает... Но она, конечно, не говорит ничего этого, она боится даже смотреть в ту сторону.

Спор начинает затягиваться. Но тут из хлебов, волоча за собой серый пыльный хвост, выныривает «Победа». Она сворачивает к комбайну, и из нее — легкий на помине — вылезает грузный, бритоголовый, с припухшими от постоянного недосыпания глазами Никифор Никанорович. Зина с высоты своего мостика смотрит на отца, и ей немножко жалко его: беспокойная, тяжелая у него работа...

— Что стоим? — спрашивает отец у комбайнера.

— Да вот насчет переезда толкуем.

— Договорились же еще позавчера.

— А вот Юрий Николаич, — Фомич кивает на агронома, — говорит, что за дорогу переезжать.

— Та-ак, — начиная хмуриться, тянет отец.

— Видите ли, Никифор Никанорыч, — мягко объясняет агроном, — урожайность на задорожном участке раза в полтора выше, чем у Крутой. По-моему, самый сильный хлеб и убирать надо в самую первую очередь. Так или не так?

«Конечно, так!» — опять хочется сказать Зине.

А отец резко отвечает:

— Нет, не так. Не так! Хоть и невелик урожай у Крутой, а он нам, может, дороже задорожного. Потому что здесь земля жирная, сама родит, а там пески. Это одно. А второе, не знаю, как там по теории, по науке, а на практике хлеб на песках всегда спеет раньше. Через день, через два он там может и потечь, а задорожный простоит хоть пять... Трогай, Фомич, нечего зря время вести.

Агроном не сдается, он хочет что-то возразить отцу, но тот поворачивается спиной и тяжелой, враскачку, походкой идет к машине.

Зине сейчас не нравится отец. Она уже забыла, как только что жалела его. Нет, все-таки не зря про него говорят: резок, груб. Ну за что оборвал человека? Мог бы, наверное, и не так сказать и вообще не на людях, а то вон сопливые ребятишки-возчики и то ухмыляются —



все-таки перед ним не какой-нибудь бригадир или кладовщик, а агроном. Нет, не чуткий он человек.

Да и не в жирной земле дело, если на то пошло. Задорожный участок агроном и посеял и удобрил по-своему — вот что сердило и, как видно, до сих пор сердит отца. Он и рад, что урожай получился тучный, и обидно ему, что заслуга тут вся агрономовская.

Агроном стоит, резко закусив губу, красный, обиженный. У Зины тоже от обиды на отца даже слезы подступают.

А тому хоть бы что! Как ни в чем не бывало он открывает дверцу машины и предлагает место агроному. Агроном отказывается. Правильно, конечно, отказывается, и отец совсем зря усмехается: Зина точно так же бы сделала!

Машина выезжает на дорогу и пылит дальше. Фомич пускает комбайн. Агроном, понурившись, некоторое время идет сбоку, потом сворачивает и шагает жнивьем к задорожному участку.

Солнце печет все немилосерднее. Воздух так прокалился, что дыхание обжигает гортань. Трудно даже представить, что где-то есть тень, прохлада, бьют ключи и зеленеет трава. Здесь, в поле, безраздельно властвует одно беспощадное солнце.

Остановились на обед. Собственно, никакого специального обеденного перерыва не было. Просто Фомичу требовалось долить масла в мотор, подрегулировать некоторые узлы, а девушки тем временем устроились в кущей тени соломенной копейки, развернули узелки с едой.

Фрося деловито жевала пирог с картошкой и луком, запивала молоком из бутылки. Зина тоже два раза откусила лепешку, но есть ей не хотелось. Ее переполняла какая-то неизъяснимая доброта и нежность к людям. Ей и Фомича было жалко (бедному мужику даже поесть по-человечески недосуг) и для Фроси хотелось сделать что-нибудь хорошее, чтобы и ей было так же хорошо.

Не зная, как и что именно сделать, Зина подвинулась поближе к Фросе и обняла ее.

Фрося настороженно поглядела Зине в лицо и вдруг — как гром среди ясного неба:

— Зинка! А ведь ты влюбилась! Честное пионерское!

Зина откачнулась от подруги и закрыла глаза, будто ослепленная.

— Еще что скажешь! Влюбилась! В кого?

— Это еще не знаю, но что влюбилась — факт! И вздыхаешь и глаза у тебя туманные — это же точно любовь. Любовь!

Фрося необычайно оживилась. Колумб при открытии Америки радовался, наверное, не больше, чем она сейчас. И настаивала на своем открытии Фрося с таким жаром, что можно было подумать: не Зина, а сама она почувствовала себя влюбленной. Зина же сидела, зарывшись в солому, и слабо, смущенно отнекивалась.

— Растрещались, сороки! — беззлобно усмехаясь, пробасил подошедший от комбайна Фомич и присел рядом. — Подумаешь — невесть бог какую важность обсуждаете.

— Очень даже важный вопрос, — с вызовом ответила Фрося. — Наиважнейший.

— Поешь с нами, дяденька Фомич, — предложила Зина. — Вот лепешки, молоко.

— Что ж, лепешки твоя мать печет знатные — не откажусь.

Фомич взял лепешку и очень старательно, как и все, что он делал, начал жевать ее. Усы при этом смешно топорщились, шевелились, шевелился подбородок, скулы, только пампушка носа оставалась неподвижной, как пришитая.

«А хороший он, наш Фомич, — почти с нежностью думала Зина, наблюдая, как аппетитно уллетает тот лепешку с молоком. — Шумит иной раз, правда, но без сердца, по привычке... Вот только агронома они с отцом зря обидели. Совсем зря!..»

О чем бы Зина ни начинала думать, мысли ее неизменно приходили к агроному, к только что сделанному Фросей «открытию», в которое ей и хотелось и еще боязно было верить.

## 2

То ли уж года давали себя знать, то ли тяжелая председательская работа тому виной, а только с некоторых пор нет-нет да и начинало болеть покалывать у Никифора Никаноровича в левом боку. Врачи говорили, что это пошаливает сердце, и, наверное, так оно и есть. Но от того, что и врачи знали болезнь и сам Никифор Никанорович, легче не делалось.

Врачи советовали меньше ходить или, как они говорили, физически не утомлять себя, начисто запретили волноваться. Совет умный, правильный, что и говорить, да только не для председателя колхоза. На «Победе» хорошо съездить в район на совещание, к комбайну на поле, а руководить колхозом из кабинета да из машины — для этого, наверное, надо иметь особый талант, которого Никифор Никанорович за собой не чувствовал. И уж совсем невозможно председателю не волноваться.

Вот только-только еще начался день, а уж сколько забот и тревог свалилось на голову Никифора Никаноровича!

Ночью возили зерно на элеватор — вернули две машины, влажность оказалась на процент выше положенной. Никифор Никанорович выругался, конечно, в сердцах крепким словом, вроде немного полегчало; но, однако же, это еще, как говорят, не решение вопроса.

В первой бригаде озимый хлеб уже кончили, а в третьей убрали только половину, и бригадир просит перекинуть к нему подборщиц из

первой. Бригадир же первой говорит: дураков нет. Как тут быть?

А на свиноферме вдруг заболела матка Хавронья — лучшая матка, гордость колхоза. Какое-то недомогание, говорит зоотехник. Но вот поди-ка разберись, что за недомогание у этой Хавроньи! А разобраться надо, потому что в случае чего председатель — первый ответчик за самочувствие и самой Хавроньи и всего ее многочисленно-го потомства.

Ну-ка, реши все это быстро и не волнуйся!

И ладно бы только это. А тут еще добрый десяток таких же важных и неотложных дел одно на другое налезает.

Вот идет агроном. Тоже небось не просто так, а с какой-нибудь докукой.

Никифор Никанорович вытащил из кармана пиджака папиросы, закурил.

За утро он уже успел побывать на складах, на току, на фермах. Успел выкурить полпачки папирос. Сейчас у него нечто вроде приемных часов. Сидеть в своем председательском кабинете Никифор Никанорович не любил, особенно летом. Душно там и как-то уж очень официально.

У задней стены конторы, около двери, еще с прошлого года лежал небольшой штабелек бревен. Вот на этих бревнах, в холодке, Никифор Никанорович и наладился разговаривать с приходившим к нему народом, решать самые разные колхозные дела. Вольготно, и кури кто сколько хочет, а накурено не будет. Правда, когда кто-нибудь бездельно засиживался на бревнах, Никифор Никанорович точно так же, как из кабинета, прогонял: «Все? Марш! Нечего тут штаны протирать...»

Агроном подошел, поздоровался. Под узкой выцветшей тенниской буграми выступала мускулистая грудь. Сильными, жесткими были и руки. А вот тонкая шея и чуть раздвоенный подбородок по-девичьи нежны и мягки.

— Я насчет сева, Никифор Никанорыч. — Агроном тоже сел на бревно в некотором отдалении. — Не пора ли начинать?

— Вроде бы не пора.

— А как же тогда со сроками?

Никифор Никанорович снял фуражку и почесал затылок: да, действительно, сроки уходят.

— Сухо очень. Дождичка бы дождаться. — Никифор Никанорович сказал про дождик и еще раз почесал лысеющую макушку: ну как и в самом деле грянет дождь, что тогда будет с уборкой? Неразрешимое противоречие!

— Оно бы, конечно, дождичка-то надо, — согласился агроном.

«Тебе-то что, — уже сердито подумал Никифор Никанорович. — Намочит хлеб или не намочит — тебе мало печали. А меня этот дождичек под монастырь может подвести...»

— Подождем денек-другой.

— А в «Стране Советов», говорят, уже начали.

— Начали?! Иван Лукич уже сеет?

«Вот это да! Иван Лукич — мужик неглупый, и если он начал...

А только, может, он свои припойменные участки засекает, тогда дело другое, там влаги всегда достаточно... Фу, что за гадость?!»

Никифор Никанорович не заметил, как папираса у него давно догорела и начал тлеть мундштук. Он бросил в сердцах окурки и длинно сплюнул ему вслед.

Ну ладно, все это так. Можно выругаться, плюнуть, можно еще раз поскрести лысину, но ведь это опять же не решение вопроса. А решать — как ты тут ни крути, как ни верти — надо.

— Так что, может, и мы завтра начнем? — заметив, что председатель колеблется, спросил агроном.

— Нет, все-таки обождем денек-другой, — уже окончательно ответил Никифор Никанорович. — Обождем!

— Что ж, ладно... Не знаю, говорил вам Василий Михайлович — хочет он, чтобы и в его бригаде одно поле по новому способу удобрить.

«Ишь ты! Агроному душу изливает, а мне ни полсловечка.»

— Нет, не говорил.

И все. Будто Юрий только об этом и спрашивал. Будто не хотел заодно узнать, как на просьбу бригадира смотрит председатель.

— А поле у Зеленого Дола так запустили, так затравлено, — продолжал Юрий, — что не мешало бы там гербициды применить.

«Какой беспокойный парень! Все ему неймется, все что-то выдумывает... Гербициды! Я и слово-то это недавно узнал, а он говорит так, словно бы еще в игрушки играл этими — будь они неладны! — гербицидами».

— Где их достать-то?

— Это я могу взять на себя. В областном управлении на этом деле сидит мой однокурсник.

«А потом будешь и с Зеленым Долом носиться, как с писаной торбой: я придумал! По моему способу!..» Никифор Никанорович говорил себе эти сердитые слова и в то же время думал: «А ведь достанет парень гербициды и — хочешь ты этого или не хочешь — возьмется за Зеленый Дол. И за многое другое возьмется — вон сила-то в нем ходуном ходит, наружу просится... Да и нельзя не хотеть...»

— На склад схожу, — агроном поднялся с бревен, — еще разок посевной материал проверю... Надо бы все же — крайний срок послезавтра — начинать.

«Тебе-то, парень, просто, — прощаясь взглядом агронома, продолжал мысленно разговаривать Никифор Никанорович. — Ты знаешь сроки, хочешь в них уложиться, и все... Ну, не только сроки, конечно, понимаешь, что и посеять надо так, чтобы взшло. Однако если и не взойдет — велик ли с тебя спрос? Спросят колхозники да и начальство тоже в первую голову с меня. Я за все в ответе...

А может, зря я на него так-то: «Тебе бы только сроки?» Может, человек думает, как лучше?.. Вот ведь дело-то какое! Мало у председателя всяких забот — так на тебе, еще одна. Знай, что какой человек в себе носит, чего он стоит... Ведь это легче легкого оборвать паренька, поставить на своем: ты чуть не двадцать лет председателем ствуешь, у тебя авторитет, а он здесь без году неделю. Конечно, у тебя опыт, которого у него нет, но ведь и ты, надо думать, не знаешь много такого, чему его научили...»

Сначала тупо, а потом все острее закололо в боку. Никифор Никанорович расстегнул ворот рубашки, просунул руку под мышку и тихонько потер больное место. Вроде полегчало.

А к бревнам подходил «на прием» уже новый посетитель — заведующая детскими яслями. Сейчас разговор пойдет совсем о другом: о манной каше, детских кроватках. Но председатель должен быть готовым в любую минуту к любому разговору. И при этом не должен волноваться...

Потом принесли телефонограмму: в сельхозснабе появились автопоилки. Это, конечно, хорошо. Но это значит также, что надо ехать в область и раздобывать к тем поилкам водопроводные трубы. Ехать надо самому. А на кого оставить хозяйство в такую горячую пору? Заместителей Никифор Никанорович не признавал: ну, уехал он из колхоза на день, на два — ну и что? Все равно никаких важных дел без него решать никто не будет. Так, для профформы разве, говорил бригадиру первой бригады Василию Михайловичу: «Ты тут в случае чего, Михалыч, наряд проведи, начальству понадобится, скажи — уехал». Вот и все.

В райкоме, еще до назначения в колхоз агронома, как-то такой разговор вышел.

— Председатель ты, Никифор Никанорыч, прямо сказать, неплохой, хозяйство ведешь с умом, — так начал секретарь райкома. — А только сколь тебе годков будет на сегодняшний день? Под шестьдесят подкатывает? Ну что ж, немудрено, что и сердце пошаливать начинает. А не думал ты, дорогой Никифор Никанорыч, насчет смены, насчет заместителя своего?.. Дай-то бог, как говорится, пожить и поработать тебе еще столько да полстолько, однако же года есть года, и рано ли, поздно ли, а кого-то в твой председательский воз подпрягать все равно придется.

Никифор Никанорович сказал, что есть, мол, у него заместитель: Василий Михайлович.

— Не хитри, — усмехнулся на это секретарь. — Прекрасно же понимаешь, о каком заместителе я говорю. Михалыч же небось если и помоложе тебя, так разве что на одну пятницу...

А вскоре прислали в колхоз вот этого агронома.

— Парень вроде неглупый, — сказал тогда секретарь. — Пригладись. Понравится, ко двору придется, — может, осядет в вашем колхозе и насовсем.

Это, конечно, очень понятно, что значит «насовсем»!

Агроном и в самом деле парень будто неплохой, старательный. Но это вообще — неплохой. А вот чтобы парень занял со временем его председательское место, этого Никифор Никанорович представить себе никак не мог.

«Чужое ему тут все, сердцу не близкое. Поле, на котором, можно сказать, вся моя жизнь прошла, для него только земельный массив. Пруд, в котором я еще голоштаным мальчишкой купался, он называет просто водоемом... Да и нелегко городскому человеку в деревне прижиться. У нас тут и культура пока еще не та и все другое...»

А может, больше всего взъерошивал Никифора Никаноровича, внутренне восстанавливал против агронома тот дальний прицел, с каким Юрий был прислан в колхоз.

Как-то сразу, с первого знакомства, не нашел он, что называется, нужного тона с этим парнем и еще чуть ли не при первой встрече, критически оглядев его с ног до головы, сказал:

— Хорошие, как я погляжу, штиблеты у вас, товарищ агроном. И дырочки, чтобы, значит, ноге вольготно было, и ремешки с пряжками — загляденье! Только ведь в них, наверное, хорошо по паркету, по асфальту, а не по полям... Поле — вещь серьезная и любит, чтобы знали его не вприглядку, а насквозь до последней рытвинки... Вот на тебе, к примеру, шелковая рубашечка да еще и галстучек завязан — одна красота. И не видно, что у тебя там под этой рубашечкой да под галстучком, — может, у тебя там грязная майка. Не видно! Так и поле. Идешь ты или едешь дорогой, глядишь — хорошо вспахано, и глубоко и без огрехов — одна красота, а пойдешь вглубь — так и пропуски найдешь и всякий другой непорядок... Все говорят, в ногах правды нет. А по-моему, так у агронома ли, у нашего ли брата, председателя, вся главная правда в ногах. Побольше по полю походишь — больше выходишь...

А чего, спрашивается, прицепился к парню? Чего дались ему какие-то там штиблеты?

Потом Никифор Никанорович взялся «приучать» агронома рано вставать. Делал он это так. Когда, проснувшись и позавтракав, Юрий приходил в правление, Никифор Никанорович встречал его подчеркнуто приветливо:

— С добрым утречком! Как спалось-ночевалось?

А когда агроном заговаривал о деле, следовал хитровато-простодушный ответ:

— Ты уж меня извини, сейчас недосуг. Да и дела-то все касаются не меня, а бригадиров — с ними бы надо решать. Бригадир же, сам знаешь, какой народ: встанут, черти, чем свет, заглянут на полчаса сюда, а потом — иди ищи ветра в поле...

Иногда Никифор Никанорович вроде советовался с агрономом: — Ну, а что наука об этом говорит?— спрашивал он. А когда агроном отвечал, обычно выводил такое заключение: — Что ж, так наперед и будем делать. А пока — пока обстановка не та, условия неподходящие. И делаем мы вот как...

Только в одном Никифор Никанорович послушался агронома: весной по его настоянию два поля унавозили вперемешку с минеральными удобрениями. То ли из-за плохого хранения на станции эти удобрения теряли свою силу, то ли вносили их неумело, но проку большого Никифор Никанорович в них не видел и на предложение агронома согласился неохотно: хвалилась калина, что с медом сладка, но мед и без нее хорош, так же, мол, и навоз. Однако смесью удалось удобрить вдвое большую площадь, а урожай — вон он теперь виден, этот урожай,— одно загляденье. Молодец, парень, что настоял!

Молодец, а отношения с этим парнем и до сих пор какие-то натянутые, и даже по имени-отчеству, как всех прочих, редко называешь его, а все больше агроном да агроном. Нехорошо! И у комбайна зря напустился на него. «Хлеб на песках дороже». Чем же он дороже тебе, если разобраться?...

— Отец! Ты что тут рассиживаешься? А обедать?

Никифор Никанорович оглянулся. Зина вместе со своей неразлучной Фросей шла мимо правления на зады.

— Ждали тебя, ждали — не дождались. Иди!

Так вон почему, оказывается, обезлюдели бревна: обед.

Никифор Никанорович еще некоторое время смотрел вслед уходившим девушкам, а потом поднялся с бревен и зашагал к дому.

«А ведь Зинка-то — совсем невеста! Вчера еще бегала голенастая девчонка с косицами, а теперь, гляди-ка, округлилась, подобралась, походка такая-этакая откуда-то появилась. Вот так еще раз оглянешься, и чего хорошего — замужем ее увидишь!»

За обедом Антонина Петровна как-то к слову сказала:

— Замечаешь, с Зинкой что в последнее время творится?

— Совсем заневестилась девка.

— Да я не про то.— Антонина Петровна сердито махнула рукой: вот, мол, увидел, что всем давно известно.— Замечаешь ли ты, что девка в последние дни вроде бы как по струне ходит? Уж не серьезно ли что у них зачинается?

— У кого это у них? — Никифор Никанорович даже поперхнулся от неожиданности.— Что ты, мать, какими-то все загадками говоришь?

— Ну и увяз же ты, погляжу я, в своих председательских делах! — воскликнула Антонина Петровна и этак сокрушенно покачала головой.— За делами этими все кругом перестаешь замечать... У кого, у кого! У Зинки с агрономом.

— С каким еще агрономом? Что ты, мать, шутки, что ли, шутишь? — Никифор Никанорович в сердцах отодвинул тарелку и срочно полез за папиросой.

Нарочито ровно (значит, обиделась!) Антонина Петровна сказала: — Агроному у нас в колхозе один.

И по этому ровному тону ошеломленный Никифор Никанорович окончательно понял, что никаких шуток никто шутить с ним не собирается.

— С какой же стати? — сказал он первое попавшее. — Нет, нет, из этого ничего у них не выйдет. — И повторил, хоть и понимал, что это глупо: — С какой стати?

Антонина Петровна опять печально покачала головой, вздохнула:

— Эх, отец, отец! Навык на собраниях да заседаниях: это выйдет, а это не выйдет... А не подумал, что они нас с тобой и спрашиваться-то не станут... Ну, меня небось уж заждались на току. Пойду.

Хлопнула избяная дверь, за ней сенная, и в доме стало оглушительно тихо. У Никифора Никаноровича даже в ушах зазвенело от этой густой тишины.

А что, если и в самом деле Зинка даже и не спросит их с матерью?! Да нет, не может быть. Ну ладно, а спросит — тогда как? Сказать, чтобы не гуляла с агрономом? Смешно!

Вот уже который час мысли Никифора Никаноровича шли словно бы по замкнутому кругу.

Ну, разве он маленький и не понимал, что рано или поздно дочь повзрослеет, станет гулять с парнями и за одного из этих парней — хочешь не хочешь — ее придется отдавать? Дочь в семье — отрезанный ломоть. Но уж очень скоро, очень рано наступило это время! Главное же — вместо какого-то отвлеченного парня, к которому в мыслях Никифор Никанорович уже как-то привык, вдруг появляется агроном. Так и хочется еще раз сказать: с какой стати? Пусть бы кто угодно, только не он. Не такой, совсем не такой парень нужен Зинке!

Да и как тогда работать будешь: похвалил — председатель своего будущего зятя по головке гладит, поругал — что-то Никанорыч на агронома напускается, не иначе с Зинкой у них нелады. Вот и будет судачить. Чепуха, конечно, но ведь на каждый роток не накинешь платок, каждому дураку не наобъясняешься...

Где-то за сельской околицей тяжело, глухо ударил гром.

Уж не дождик ли собирается, легкий на помине?!

Резко отодвинув стул, Никифор Никанорович встал, быстро вышел на крыльцо.

Вся восточная половина неба подернулась темной свинцовой синевой, и чем ближе к горизонту, тем синева эта была гуще, беспросветней.



Опять ухнуло, но далеко, за лесом.

Похоже, к вечеру соберется дождь.

Никифор Никанорович заспешил на ток к зерновым складам, и мысли его сейчас были только о том, как бы успеть закрыть до дождя зерно, откуда и куда перекинуть машины, как лучше расставить людей. Все, о чем он думал перед этим, ударом грома было отброшено в сторону. Весь остальной мир заслонила собой свинцовая наволочь.

### 3

Ужинали молча. Так бывало иногда: летний день долгий, все устанут, не до разговоров. Но нынче в тишине за столом чувствовалось что-то тревожное, что-то такое, от чего Зину временами охватывало непонятное смятение. Уж не догадываются ли о чем отец с матерью? Что, если они вот сейчас возьмут да и спросят: а с кем это ты, дочка, до зари пропадаешь? Что она им ответит? Врать она не умеет, а правду сказать язык не повернется, стыдно.

Но Зину никто ни о чем не спросил. Отец запил ужин молоком и ушел в правление, мать начала убирать со стола.

В клуб они с Фросей пришли пораньше: скамеек для всех не хватало, и надо было занять место. Сели около двери.

— Здесь повольготней, — сказала Зина, — а то опять небось как в бане будет.

Фрося чуть заметно ухмыльнулась, мол, все понятно, можешь не объяснять. И как бы в доказательство того, что она правильно поняла подругу, деловито предложила:

— Не жмись, садись пошире, а то вдруг еще кому опоздавшему у дверей сесть захочется...

Зина почувствовала, что краснеет, и, низко наклонив голову, стала старательно перевязывать косынку.

Клуб быстро заполнялся. Перед самым началом пришел агроном. Расчет Зины оказался точным: Юрий заметил их с Фросей сразу же, как только переступил порог. Для порядка он огляделся по сторонам, а потом подошел к их скамейке.

— Свободного местечка не найдется?

— Проходите, потеснимся, — приветливо откликнулась Фрося и, освобождая место, отодвинулась от Зины.

Юрий втиснулся между ними. Потух свет, и кино началось.

Картина была из колхозной жизни. Приехавший в колхоз молодой зоотехник с первых же шагов вступал в резкий конфликт с неучем-председателем. Зоотехник был напорист, смел и решителен, сермяга-председатель, наоборот, слишком осторожен и подозрителен ко всяким новшествам. Он долго упирался, ставил палки в колеса своему противнику, но в конце концов с помощью парторга перевоспитывался

и в последних кадрах со словами «дай я тебя поцелую, сынок», широким театральным жестом обнимал зоотехника.

Попутно с этим кипели любовные страсти. Зоотехник приглянулся одной девушке, но поначалу, увлеченный борьбой с председателем-консерватором, не замечает этого. Девушка мучается. Потом мучается парень. Однако кончается и здесь все благополучно — жарким многословным объяснением и долгим поцелуем.

Кажется, Зина однажды уже видела эту картину. Только тогда она, помнится, ей не понравилась, а нынче показалось вроде бы и не такой уж плохой. Потому ли это так вышло, что герой картины чем-то похож был на Юрия, или потому, что Юрий сидел совсем рядом, локоть к локтю...

Зажегся свет, и в дверях сразу же образовалась пробка: всем хотелось поскорее выбраться на свежий воздух.

Догадливая Фрося отбилась от Зины с Юрием где-то на выходе, и они вдвоем пошли темной со света улицей. Вечер был свежий, прохладный и очень звездный.

— Прямо беда, до чего в этих кино все легко и просто получается, — видимо, думая о чем-то своем, проговорил Юрий. — В жизни-то куда сложнее.

— Да, в жизни, конечно, сложнее, — тоже думая о своем, поддакнула Зина.

Она думала о девушке из кино. Та вот смогла показать свою гордость, выдержку и даже заставила мучиться человека, которого любила. Она, Зина, ничего этого сделать бы не смогла. Какая уж тут гордость, когда и без того боишься, как бы не порушилось вдруг, как бы неожиданно-негаданно не кончилось твое счастье. И никогда она не заставит Юрия понапрасну мучиться. Зачем это? Пусть ему будет всегда хорошо.

Они свернули в узенький глухой проулок, прошли взад-вперед по нему, потом уселись у заросшего крапивой плетня на старую колоду. Здесь было тихо, безлюдно.

— И больше всего то обидно, что делаешь ты одно, а получается другое, — опять заговорил Юрий. — Даже и не получается, а просто... Ну, просто людям думается, кажется, что другое.

Теперь Зина поняла, о чем и о ком говорил Юрий. Об отце. И она впервые, может быть, подумала, каким сложным узлом все завязывалось. Тогда, на поле, она просто обиделась за Юрия. Сейчас она думала, что ведь не будет у них счастья, если отец не переменится к Юрию.

И в чем тут дело? Ну ладно бы — чего не бывает! — не ко двору пришелся парень. Так нет же! И бригадирам он многим по душе — Василий Михайлович горой за него, и с колхозниками вроде общий язык находит. А отец... Конечно, Юрий парень не робкий и за себя

постоять может. Но что толку-то, если у них с отцом нелады пойдут? Прав или не прав отец, но ей, Зине-то, он — отец, она его тоже любит.

Затихло, замолкли песни на улицах, а Зина с Юрием все еще сидели, время от времени обмениваясь какими-то малозначащими словами и думая каждый о своем.

В конечном счете думали они об одном и том же.

Потемнел, а потом медленно начал высветляться восточный край неба. Загорланили предрассветные петухи.

Что-то им несет новый день?

#### 4

После недавних дождей день выдался солнечный, веселый.

Зина с Фросей работали на току, насыпали в мешки хлеб из ворохов. Работа не такая уж и легкая, а шла весело, за шутками да за смехом и устали совсем не чувствовалось.

В самый разгар этого рабочего веселья к вороху подошли двое незнакомых мужчин, и только-только успели Зина с Фросей обернуть к ним смеющиеся лица, один из подошедших вскинул фотоаппарат и раз за разом дважды щелкнул.

— Благодарю вас!

Ни Зина, ни Фрося не знали, что надо отвечать в подобных случаях, и обе растерянно молчали. За что, собственно, их благодарить?

А незнакомец с фотоаппаратом, уже обращаясь к своему товарищу, продолжал:

— Шикарный кадрик! Ты погляди, какие у них фотогеничные мордашки — сами в объектив просятся.

И опять было непонятно: с похвалой о них отзываются или с осуждением.

— Так-то так, — сдержанно, негромко ответил товарищ, — а все же надо бы сначала спросить, кто они и что, какие показатели.

— Брось, старик. У таких хороших девчуток не может быть плохих показателей.

Пока они переговаривались, подошел агроном. Тот, которого называли стариком (хотя на вид ему, наверное, и тридцати не было), вытащил блокнот и, кивая на Зину с Фросей, что-то сказал агроному.

— Вообще-то хорошие девушки, — несколько смущенно ответил Юрий. — Хорошо работают. Но лучше все же с бригадиром посоветоваться.

Зине понравился и ответ Юрия и то, что он смутился. Особенно понравилось, что он про Василия Михайловича упомянул.

Теперь ей ясно было, что за люди стояли по ту сторону вороха. Утром она видела их у конторы с Василием Михайловичем.

— Уж больно не ко времени вы, ребята, прикатили, — открыто-простодушно говорил им Василий Михайлович, сдвигая по привычке козырек фуражки на макушку. — И председатель в отъезде, а мне так-то некогда — зарез...

А тут и появился Юрий. Василий Михайлович весь просиял от радости.

— Да вот же кто вам все покажет, все расскажет — агроном! Грамотей, академик — академику окончил — ему и карты в руки... Юрий Николаевич, — позвал Василий Михайлович, — займись-ка, будь добр, с товарищами!

Должно быть, сейчас Юрий как раз и «занимался» с товарищами.

Побыв еще некоторое время на току, гости в сопровождении агронома двинулись дальше, на фермы. В последнюю минуту Юрий обернулся и весело так прищурил на Зину и Фросю один глаз: не робейте, мол, все хорошо. Зина улыбнулась в ответ: конечно, все хорошо! И думала ли, могла ли подумать она, что именно этот веселый, радостный день окажется самым несчастным днем в ее жизни?!

## 5

Отец явился из областного города мрачным, темным, как туча. — Где Зинка? — спросил он у матери, еще не успев раздеться, забыв поздороваться.

Зина вышла из-за перегородки.

— Видела? — отец швырнул на стол газету.

Зина развернула ее. На третьей странице, под общей шапкой «Загорье» выходит на новые рубежи», она увидела многих знакомых людей и себя с Фросей в том числе. Необычно, приятно было видеть свою фотографию в газете!

— Она еще и улыбается! — загремел отец. — Да вас с Фросей не на карточку снимать, а подолы заголить да крапивой по этому месту. Тоже мне герои социалистического труда! Ни стыда, ни совести, выставили свои рожи на всю страницу, скалятся — тьфу!

Фотография, на которой сняты Зина с Фросей, была действительно крупновата и напечатана посредине страницы, и, может, это в самом деле не совсем скромно. Но в то же время чего ж тут плохого?! Да и не сами они «выставляли свои рожи» — они просто-напросто работали на току и — весело было! — смеялись.

— А смотри, мать, что с дояркой Анной Павловной сделали подлецы, — продолжал отец. — Один достойный человек попал под фотоаппарат, так и того затискали в дальний угол и так-то мелко дали, что не поймешь, с коровой рядом она стоит или с носорогом... Оно, конечно, у этих распухших рожи посмазливее, чем у Анны Павловны, но ведь колхоз-то крепко работающими руками, а не распрекрасными глазами...

И еще одна фотография была напечатана на газетной полосе. На ней агроном стоял на поле с бригадиром третьей бригады и на что-то показывал ему рукой.

— Агроном зачем-то красуется, — сердито тыкая пальцем в снимок, сказал отец еще более раздраженно. — И бригадира не того выбрали. Чем и хорош он, так это разве усами. Усы им, надо думать, и глянулись. «Агроном дает указания бригадиру». Ха! Вранье! Не дает агроном никаких указаний — я даю.

Зина насторожилась.

— А вообще почитать, что тут написано, — продолжал отец, — так председателя вроде вовсе и нет в колхозе, так только в одном месте между прочим упоминается. Я-то дурак, стараюсь, ночи не сплю, а оказывается, и так все хорошо идет, колхоз и без меня выходит на новые рубежи, а мне можно в отставку.

Вот оно что! Вон почему так рвет и мечет отец! Зина быстро пробежала текст газетной полосы, и чем дальше она читала, тем яснее ей становилась причина свирепого раздражения отца. В газете очень подробно описывалось, как агроном приехал в колхоз и как образованный, ученый человек, не имеющий практики, начал «срабатываться» с многоопытным практиком-председателем, как затем посоветовал председателю вносить навоз в смеси с суперфосфатом и какой высокий урожай дало удобренное поле. Далее рассказывалось, что агроном настолько «привил у председателя вкус к науке», что тот уже сам предложил на одном поле применить гербициды. И еще о многом было написано, даже о том, какой начитанный человек агроном и кто из писателей ему больше всего по вкусу.

— Гербициды предложил! Ничего я не предлагал. И совсем не нужна мне эта липовая слава, забирал бы уж заодно и ее себе. А то, видишь ли, благородный жест.

Про себя и Фросю Зине читать было совестно: какие-то чужие, не в меру пышные слова, которых они с Фросей — в этом отец прав — совсем не заслуживали. Про Анну Павловну бы так! Но о доярке и написано было обидно мало, да и то, что написано, отдавало канцелярским отчетом: корма, надой, надой, корма.

— Ну, ничего, — все так же мрачно заключил отец. — В отставку мы еще погодим. Мы еще покажем, кто есть настоящий хозяин в колхозе и кто действительно везет колхозный воз на новые рубежи, а кто идет сбоку и посвистывает... Ты, Зинка, ступай до Куприяныча, скажи, чтобы экстренно правление собирал...

Зина испуганно оглянулась на мать. Что-то недоброе послышалось в словах отца.

— А может, до завтра отложишь правление-то? — сказала мать. — Ничего экстренного вроде нет.

— Ну, это мне лучше знать, есть или нет, — в запале ответил отец и уж совсем сердито крикнул на Зину: — Кому сказал? Ступай!

Зина кинула газету на стол и пошла к двери. Сердце стучало громко, тревожно. Хотелось плакать.

Никифор Никанорович все еще не мог успокоиться. Стоило только ему взглянуть на злополучную газету, как в груди что-то снова и снова закипало и больно начинало покалывать в боку.

Какая несправедливость! Слава богу, не впервые о «Загорье» пишут в газетах, да и не тщеславный он человек, но тут-то ведь все с ног на голову поставлено! Вместо председателя, что называется, крупным планом сняли его дочку, а потом спели аллилуйю агроному — и вся картина. Смешно! Смешно и глупо. И глупость эту читает сейчас вся область... И ладно бы газетчик-шелкопер от себя всю эту ахинею нагородил. Тогда бы хоть какое-то опровержение можно было дать. Но что тут опровергнешь, когда везде пестрит: «Мы идем с агрономом», «Агроном нам рассказывает»... И невдомек тому ученому, образованному агроному, что рассказывает он об одном себе, а если и упомянул председателя, так только в том смысле, что председатель не сразу согласился с его предложением. Ну, это у тебя не выйдет! «Неглупый вроде, старательный». А, оказывается, он вон для кого и для чего старался...

— А все-таки отложил бы на завтра правление-то, — тихо, но с плохо скрываемой тревогой повторила Антонина Петровна. — Утро вечера мудренее.

Жена, конечно, права: утро вечера мудренее, и вообще никакой спешки нет. Но именно потому, что жена давала правильный совет, Никифор Никанорович и не мог послушаться ее. Ему сейчас все хотелось делать наперекор.

— Нет, мать, такие дела в дальний ящик не откладывают, — решительно сказал он, взяв в руки кепку, и тяжело зашагал к порогу.

Когда Никифор Никанорович пришел в правленческую контору, агроном сидел в его кабинете, что-то писал.

«Так, так. К моему председательскому стулу примеряешься? Ну и как? В самый раз или немножко не по росту?..»

Агроном встал и вышел из-за стола, но Никифор Никанорович не стал садиться в кресло, а этак скромно приостылся сбоку.

Зазвонил телефон. Вышло так, что к трубке они потянулись одновременно — темная, корявая, с набухшими венами рука Никифора Никаноровича и сильная, молодая — Юрия. Смутившись, агроном неловко отдернул руку.

Звонил заведующий сельхозотделом райкома, спрашивал, много ли земли колхоз собирается оставить под чистый пар. Никифор Никанорович ответил.

— А с агрономом советовался?

Никифор Никанорович чуть не сказал: а чего мне с ним советоваться — сам, что ли, не знаю! Но удержался. А про себя подумал зло: в райкоме скоро и впрямь начнут считать агронома наибольшим в колхозе.

Вешая трубку, Никифор Никанорович смиренно, хотя и с явной насмешкой спросил:

— Ну, и какие указания будут, товарищ агроном?

Юрий остро, сердито улыбнулся.

— А ведь я знал, что вы именно так мне скажете.

Никифора Никаноровича неприятно, больно хлестнули эти слова.

— Так, так. А что ты еще знаешь?

— А еще я знаю, что не сработаемся мы...

— Вот те на! — с напускным простодушием воскликнул Никифор Никанорович. — В газете вон как раз наоборот написано.

— То в газете. — Агроном стоял весь бледный, нервно теребил свою тубетейку, и Никифору Никаноровичу даже жалко его сделалось. — Словом, прошу отпустить меня... уволить.

Вот это здорово! Никифор Никанорович ломал голову, как подвести к этому разговор, а оказывается, и подводить ничего не надо. Ай да парень! Догадливый... Только уж не дурачит ли он меня? Не подвох ли какой? Стой, стой! Прославленного агронома-новатора председатель-самодур выживает из колхоза — да это же материал еще на целую газетную страницу. Ловко!

— Значит, бежишь из деревни!

— Нет, зачем же. В «Страну Советов» пойду.

— К Ивану Лукичу?

Первой мыслью Никифора Никаноровича было: «Ну, нет, Иван Лукич, мужик ты хитрый, но и я не лыком шит. Значит, я буду растить кадры, а ты их переманивать? Не выйдет!..» Но тут же Никифор Никанорович одернул себя: о каких кадрах речь? Да ты радуйся, что он сам уходит. А то ведь как там ни что, а ложное какое-то положение: растишь, учишь человека, который рано или поздно не то чтобы спихнет тебя с председательского поста, но что-то в этом роде. Да и он, ученик твой — вольно или невольно, — глядит на тебя, как на обреченного, без пяти минут пенсионера.

— Уже договорился?

— Договариваться не договаривался, но Иван Лукич как-то приглашал.

«Ах, лиса старая!.. Ну, я тебе припомню! А этого хлопца назло тебе не отпущу».

Так бы и надо сказать агроному. Так бы и надо сделать. Но нынче Никифор Никанорович все делал наоборот, наперекор тому, что следовало бы. И сейчас, насилуя свою волю, из одного упрямства сказал:

— Ну что ж, держать не станем. — Добавил: — Если райком, конечно, не будет возражать. — Подумал, не туманно ли получается, и повторил для ясности: — Держать не будем.

Бледное лицо агронома взялось пятнами, пряди длинных волос свесились, и из-под них влажно блестя глядевшие куда-то в сторону

глаза. Видно было, что он ожидал и не ожидал такого скорого согласия и ему сейчас мучительно хотелось поскорее уйти отсюда, но как это сделать, он не знал.

Выручил вошедший в кабинет Василий Михайлович. Пока он подошел к столу да поздоровался с Никифором Никаноровичем за руку, агроном разом надвинул на голову тюбетейку и шагнул в неприкрытую дверь.

По виду агронома Василий Михайлович, должно быть, понял, что за разговор здесь только что произошел, и чувствовалось — не одобряет он этого разговора.

— Насчет гербицидов — это правильно. Надо попробовать. А то больше болтаем про науку, а на поля наши она настоящей дороги еще не проторила.

— А я никаких гербицидов и не предлагал, — ехидно, как ему казалось, сказал Никифор Никанорович: вот, мол, тебе и фунт!

Однако на Василия Михайловича это не произвело никакого впечатления.

— А разве уж так важно, кто предложил? — сказал он очень просто. — Сочтемся славою. Лишь бы толк был.

Никифор Никанорович понял, что его ехидство было не больше чем глупым мальчишеством.

— А из этого парня, — Василий Михайлович кивнул на дверь, — если умно дело повести, толк будет. Пены еще многовато, как в молодом пиве, но пена сойдет. Только бы не сдуть вместе с ней доброе, настоящее.

Никифору Никаноровичу нечего было возразить бригадиру. Но у него еще не хватало силы открыто признать его правоту.

Вскоре пришли другие бригады, заведующие фермами. Почти у всех из карманов торчали газеты.

— Ну, все в сборе, можно начинать, — сказал Василий Михайлович.

— Что начинать? — не понял Никифор Никанорович.

— Как что? Экстренное заседание правления.

— А-а, да...

Наступило неловкое, тяжелое молчание.

Потирая ноющее нынче весь день сердце, Никифор Никанорович обвел взглядом всех членов правления и понял по их глазам, что они тоже не то чтобы знали, что за разговор вел он сейчас с агрономом, но о чем-то догадывались, что-то почувствовали. Догадывались и сидели настороженные, обеспокоенные. И, может быть, даже не только и не столько за агронома они беспокоились, сколько за самого Никифора Никаноровича. Кто там и что не говори, а со стороны взглянуть — получается некрасиво. Ну, хорошо, агроном по молодости лет немножко зарпортовался. А председатель? А у председателя выиграло самолюбие и...



— Так вот что, мужики... Поилок я достал на оба двора. Труб же водяных только-только наберется на один. Давайте думать, как быть. К зиме фермы должны быть с водой...

Все облегченно вздохнули и стали обсуждать, где достать трубы.

Домой возвращался Никифор Никанорович уже поздно. Потемневшее небо густо усыпало звезды, по улицам села колобродила с песнями молодежь.

Никифор Никанорович шел медленно. Надо было собраться с мыслями и что-то решить окончательно.

Если бы не Зинка! Если бы она не впуталась во всю эту историю, как было бы просто. Оставил бы парня Никифор Никанорович у себя в колхозе. И не дурак парень, если уж говорить начистоту, да и, как теперь видно,— с характером. Это хорошо, значит, со временем выйдет из него работник. Но ведь оставь — Зинка же от него не отлепится, вот в чем загвоздка. А парень этот не по ней. Не того поля ягода. И не в том тут дело, что у Зинки девять классов, а у него институт. Наверно, и думает он по-другому, глядит на все не так, и интересует его не то, что ей, деревенской девке, интересно: лишьку простовата Зинка, все у нее, как у младенца, наружу, и надоеет она ему, скоро надоеет. Может, и не бросит, но и жизни не получится.

А самым тяжелым и обидным было то, что он ничего этого не мог сказать дочери. Собственно, сказать-то мог, да какой толк, разве Зинка послушает его?

За советом к Никифору Никаноровичу по самым трудным делам, и по семейным, по любовным в том числе, обращаются десятки людей. И, видно, не глупо он советует — потом благодарить приходят. А вот собственной дочери посоветовать ничего не может. Дочь будет уверена, что он ошибается. А ведь если он за все и за всех в ответе — за свою дочь тем более.

А вдруг он и в самом деле ошибается? И дело такое — ошибку не проверишь. Посеял не в тот срок — можно проверить, взял да на другой год по-другому посеял, а потом сравнил. В человеческих делах «пересевать» нельзя. И если им по молодости еще и можно ошибаться, ему ошибаться непрослительно. Они, молодые, потом не простят. Так как же, как же тут быть? Сейчас они в правлении сидели и сообща думали, где и как достать трубы для водопровода. И ведь придумали. А попробуй-ка вот тут что-нибудь придумай!

Так ничего и не решив, Никифор Никанорович пришел домой.

Из чуланчика, когда он шагнул в сени, до него донеслись приглушенные всхлипывания. Никифор Никанорович потоптался у двери в избу, где и стал ее открывать, а подошел к Зине.

— Ты что? — Он присел на край кровати, положил жесткую, пахнущую табаком ладонь на мокрое лицо дочери, провел по лбу, по волосам. — Не надо... Не надо.

Зина напрягла все силы, чтобы сдержаться, но заплакала еще сильнее. А он ни о чем не спрашивал, а только гладил корявой ладонью по волосам и тихонько говорил:

— Ну, хватит... Пройдет... Пройдет...

Он утешал ее так же, как и десять лет назад, когда Зина однажды больно расшибла коленку, а в другой раз порезала стеклом руку...

За делами, за каждодневными председательскими заботами и хлопотами он и не заметил, как прошли-пролетели эти годы.

А они прошли.

## МАСТЕР ИЗ НАУМБУРГА

Правильно говорится: первую половину пути человек думает о том, откуда он едет, а вторую — куда едет.

Уже и кончилась, кажется, предотъездная суета, когда, как рано ни начни собираться, а тебе обязательно не будет хватать сначала одного дня, а потом одного часа; уже сами собой кончились всякие дела, и остались в Москве всякие московские заботы. Мерно постукивая и покачиваясь, поезд увозил от них Годяева все дальше и дальше на запад. Однако же в мыслях он весь еще был в этих делах и заботах. Он все еще продолжал с кем-то спорить, кому-то что-то доказывать. А когда вспоминал это дурацкое недоразумение на выставке, так у него даже ладони потели от волнения.

И ведь узналось ни раньше, ни позже, а прямо перед самым отъездом... Вообще-то, конечно, не такой уж серьезный повод, чтобы расстраиваться, и все равно нехорошо. А может, больше-то всего обидно, что этот щелкопер Рубиконский, надо думать, мнящий себя знатоком искусства, клюнул на такую дешевую блесну. «Современность крупным планом!» «Современность в полный голос!» Что бы ты понимал в современности, жалкий писака...

Впрочем, зря, пожалуй, он на него так-то. Ведь, в сущности-то, критик в своей рецензии расхвалил его картину. И не вина Рубиконского, что кто-то, какие-то технические выставочные тети перепутали фамилии и приписали картину другому автору... Но как этого не заметить профессионалу, как не понять, что вещь написана в иной — ну, совсем иной — изобразительной манере?! Однако, если быть справедливым, Рубиконский и это заметил. Он так и писал, что «картина «Геологи в тайге» написана в иной, новой для Бадяева стилиевой манере и, видимо, знаменует новый этап в творчестве художника». Новый этап! Да бездари Бадяеву никогда, ни на каком этапе не написать такой картины!..

Недоразумение выяснилось, выставочный комитет даже принес свои извинения, да что из того: это он знает об извинении, еще двадцать, пусть сто человек. А рецензию в газете прочитали пол-

миллиона, а может, и миллион... Да и те, кто знает, теперь будут говорить о картине обязательно с идиотскими улыбочками: «А, это та самая! Вот что значит иметь похожие фамилии — и картины получаются похожими...», «Правда, Толстых было аж трое, но их все же как-то различают», «То — в литературе», «А что, в литературе быть оригинальным разве проще?..» Нет, таких разговоров ему слышать не приходилось. Но стоило Годяеву представить кого-нибудь из своих знакомых, и фраза за фразой сами начинали выстраиваться в его воображении.

Ну, хватит уж, хватит об этом, надо наконец взять себя в руки и выкинуть все это из головы. Да и что, в сущности, случилось? Картина написана и, кажется, удалась, художники и искусствоведы знают, кто ее настоящий автор, а что до так называемого миллионного читателя-зрителя, живущего где-нибудь в Рязани, Вологде или Саратове, — он все равно картины не увидит. А если говорить уж и совсем откровенно — успех картины не от него и зависит... Чего же, спрашивается, огорчаться? Будем считать, что все огорчения остались там, в Москве. А впереди интересная поездка. И время года удачное — июнь, все можно увидеть в красках, при ясном солнце. Может, даже удастся сделать наброски, а то и на денек выбраться в окрестности какого-нибудь городка на этюды.

Мерный перестук колес, однообразие вагонной жизни действовали на Годяева успокаивающе. Он с удовольствием вытянулся на мягкой полке и сам не заметил, как уснул. А когда наутро поднялся — за окном уже шла чужая земля, чужие села и города. И все, о чем он вчера думал, все его недавние волнения и переживания теперь казались уже далекими-далекими.

Начиналась вторая половина пути.

В Берлине его встретил представитель Союза художников говоривший по-русски, так что и в переводчишке нужды не было. Годяева не то что обидела, но все же неприятно резанула такая малочисленность встречающихся. Ну, хотя бы двое-трое: как-никак к ним приехал видный советский художник... Впрочем, как тут же выяснилось, обиделся он зря. И немецкие художники и советские коллеги Годяева, прибывшие в Берлин днем раньше, уже уехали в Росток, где должна проходить встреча художников стран Балтийского моря. Встреча открывается завтра, и, чтобы он тоже мог успеть к началу, ему заказан билет на самолет.

Росток не произвел на Годяева сколько-нибудь определенного впечатления. Запомнились встречи с коллегами из Швеции и Финляндии, интересные вещи были на выставке. А город не запомнился. Гуляя по нему, Годяев не мог отделаться от мысли, что он уже видел что-то похожее в нашей Прибалтике. Его даже ни разу не потянуло к этюднику.

От Берлина, куда они через несколько дней вернулись из Ростока, у Годяева осталось тоже какое-то неопределенное дробное впечатление. Громада полуразрушенного бомбой собора; строящаяся телебашня; несколько сохранившихся старинных ансамблей на Унтерден-Линден; опять разрушенные войной и еще не восстановленные здания. Много заново застроенных улиц, площадей, целых кварталов, но много еще и следов войны. А может, портили впечатление от города даже не столь они, сколько то, что был он весь разгорожен. Идешь улицей и видишь в ее перспективе известные тебе еще по фотографиям и кино Бранденбургские ворота. Тебе захотелось поглядеть на них вблизи. Увы! Они отгорожены, они в другой зоне. По ту сторону границы оказался и рейхстаг. И куда бы ты ни пошел или ни поехал по городу — рано или поздно обязательно наткнешься на двойную огороду или пограничный пост. Может, ничто другое не напоминает немцам о недавней трагедии так наглядно и так больно, как вот эта изломанная пограничная линия, проведенная через сердце города. Города, видевшего и начало трагедии и ее финал...

Настоящее знакомство со страной, с ее художественными памятниками началось для Годяева на юге. Здесь каждый город имел и свое неповторимое лицо и в то же время как бы дополнял, дорисовывал общую картину.

Старый мудрый Веймар.

Ни в каком другом городе, пожалуй, не ощущается так явственно дыхание вчерашнего дня, дыхание истории, как в Веймаре. Оно и в самом облике города, не очень-то изменившегося за последние века, и в том, что здесь чуть не на каждой улице или площади ты можешь увидеть если не монумент, то мемориальную доску, напоминавшую или о великом человеке, или о важном историческом событии.

Вот дом Гете. Недалеко от него дом, в котором жил Шиллер. А вот на одной из центральных площадей города, на высоком постаменте, они обронзовевшие, стоят рядом. И когда после этого ты вдруг встречаешь на улице среди зелени большой бюст Пушкина, почему-то не удивляешься. Памятник великому русскому поэту как-то очень естественно вписывается в этот город.

Много часов Годяев провел в картинной галерее. Здесь с полотен старых мастеров на него тоже глядели современники Гете и Шиллера и та жизнь, которой они жили. Целый зал, расписанный фресками, иллюстрирующими произведения Шиллера. Еще зал — иллюстрации к «Фаусту». Большие экспозиции итальянцев и фламандцев, испанских и французских художников.

У Годяева была своя, уже установившаяся манера смотреть картины. Входя в зал, он сначала окидывал быстрым, беглым взглядом все вислице в нем полотна. Отметив про себя лучшую картину, он потом обходил остальные и в заключение останавливался

перед избранной. Иногда она и в самом деле оказывалась лучшей, иногда нет, но это угадывание высокого мастерства с первого же взгляда всегда доставляло Годяеву чуть ли не самое большое удовольствие.

В большом зале испанцев среди портретов, пейзажей и натюрмортов с дичью и лимонами Годяев сразу же выделил не очень крупное полотно, на котором был изображен средних лет мужчина. Белый, отделанный кружевом ворот его одежды резко оттенял смуглое лицо. Годяеву показалось, что это мог быть Гойя.

Подойдя потом к этому полотну поближе, он убедился, что оно и в самом деле выполнено большим мастером. Все разговоры о глубине проникновения в человеческую психологию и прочем, какие ему частенько приходилось вести с братьями по ремеслу, сейчас, перед этим портретом, показались ему жалкой болтовней. Вот он, глубокий психологизм! И никакие слова об этом самом психологизме тут вовсе и не нужны — художническая кисть сказала все.

Нет, это был не Гойя. Под картиной скромно стояло: «Портрет мужчины. Неизвестный художник XVII века».

Залы с картинами Тинторетто, Веронезе и Тициана на библейские сюжеты Годяев прошагал не задерживаясь: в нашем Эрмитаже эти мастера представлены более значительными вещами.

Во французском зале при первом взгляде выбор Годяева тоже пал на мужской портрет. Он даже показался ему чем-то близким испанскому.

Нет, лучше приглядеться, близкого тут очень мало, а может, нет и вовсе. Со стены гордо и требовательно оглянулся на Годяева молодой красивый человек. Он словно бы спрашивал: «Ты хочешь знать, кто я, живший триста лет назад, ты хочешь знать, как я жил и о чем думал? Ну, что ж, вот я перед тобой, смотри. А я посмотрю на тебя...» Взгляд молодого человека был таким дерзким и пристальным, что Годяев на какую-то секунду даже почувствовал непонятную робость.

Только чем же, чем этот, тоже с блеском написанный портрет показался ему близким к испанскому? Совсем другой, более светлый колорит, другая манера письма. Нет, ничего похожего. Сближала их разве все та же глубина художнического проникновения в человеческий характер, которая поразила Годяева в портрете неизвестного испанского художника.

А кто автор этого шедевра?

Под картиной стояла точно такая же скромная подпись: «Мужской портрет. Неизвестный художник XVII века».

Годяев даже подсадовал: хотя бы школу определили, если уж ничего даже предположительного нельзя сказать ни о самом мастере, ни о том, кого он написал.

Выйдя из музея и снова шагая узенькими улицами города, Годяев как бы все еще продолжал жить то ли в семнадцатом, то ли в во-

семнадцатом веке: ведь центр города остался с тех пор, в сущности, неизменным. Вон кабачок «Черный медведь», которому, говорят, уже более четырехсот лет, рядом с ним — не его ли ровесница? — гостиница «Слон» с пивным подвальчиком того же названия, еще дальше — потемневший от времени «Черный лебедь»... Разве что витрины магазинов да автомобили напоминают о конце двадцатого века.

На каком-то перекрестке неспешно шагающего Годяева чуть не сбил с шумом и треском вылетевший из-за поворота и обдавший дымной вонючей струей мотороллер с длинноволосым парнем у руля и коротко стриженной девчонкой на заднем сиденье. Вот она, последняя четверть двадцатого века! Будь его воля, Годяев сделал бы запретными для мотоциклов тесные улочки таких маленьких и тихих городков, как Веймар. Тишина таких улиц имеет свою поэзию, и, может, ничто другое так мгновенно не разрушает и не уничтожает ее, как эти никчемно быстрые здесь, трескучие демоны...

Лейпциг — странное дело, будто он глядел на него с высокой горы, — запомнился Годяеву прежде всего своими вертикалями: средневековой башней ратуши в центре города, шатровой церковью в память погибших в Битве народов русских воинов, остроконечным шпилем нашего стандартно-сучковатого павильона на территории международной ярмарки... А вот ощущения города, как чего-то единого, за исключением разве его старинного центра, почему-то не осталось.

Теперь впереди был Дрезден с его всемирно известным Цвингером — может, самое интересное и значительное во всей их поездке.

По дороге из Лейпцига, уже перед самым Дрезденом, там, где шоссе выходит на берег Эльбы, Годяев увидел через ветровое стекло машины сурово и недоступно возвышающийся на скалистом уступе берега средневековый готический собор. Можно было не спрашивать, это, конечно, был знаменитый Мейсенский собор, его не раз приходилось видеть Годяеву в альбомах по архитектуре.

Когда они, сделав небольшой крюк, подъехали к собору с другой, нагорной стороны и увидели его вблизи, он показался Годяеву еще более величественным и прекрасным. Даже фактура кирпичной кладки и та здесь служила художественным элементом здания. Вплотную к собору примыкал столь же старинный и столь же прекрасный замок. И нельзя было не подивиться тому художническому чутью и такту зодчего, с каким он объединил оба эти сооружения в одно целое, в единый ансамбль. Объединены они башенкой винтовой лестницы — всего-то навсего! Но необычайно своеобразно решенная зодчим, увенчанная готическим шпилем, башенка эта великолепно вписывается в замок, украшая его, и в то же время как бы перекликается с башнями собора.

И слышал и читал Годяев об этом соборе и замке. Но какие слова,

какая фотография могут передать всю живую красоту этих творений человеческого гения?!

Так называемые перекрестные перекрытия внутри зданий поражают своей лаконичностью и благородной возвышенной красотой. Все так просто, что поначалу кажется непонятным, отчего ты не можешь оторвать взгляда, — ну, чего тут особо рассматривать-то?! Но ведь давно еще сказано, что все гениальное просто, и это именно та простота, которой достигают только большие художники. Решая, казалось бы, чисто инженерную задачу, зодчий словно оживил мертвый камень, заставил его говорить, и вот он говорит с каждым, кто его видит, на очень выразительном языке великого, а значит, и всем понятного искусства.

Когда Годяев вошел в алтарную часть собора, прорвавшееся сквозь облака солнце ударило в высокие длинные окна-витражи, и они заиграли, запламенели, затрепетали разноцветным бегучим, переливающимся огнем. Необыкновенную, немножко таинственную красоту сообщали всему эти ни на одно мгновение не затухающие, а как бы пульсирующие под солнцем празднично-яркие витражи! Мастер, их создававший, надо думать, не только очень хорошо знал соотношение цветов, ему ведомы были и тайны живой завораживающей игры света. Хотя мастер тот жил пять или шесть веков назад и вряд ли знал законы физики, законы преломления света хотя бы в том объеме, в каком их ныне знает любой шестиклассник.

Годяев взглянул на табличку на стене собора. На ней значилось: «Мастер из Наумбурга». То есть, говоря по-другому, опять же неизвестный мастер. Известно только, что он из Наумбурга.

Вываает, что застигнет тебя где-нибудь в поле в поздний вечер гроза, ударит молния, и при ее свете на мгновение станет видно далеко-далеко окрест. А еще при ее свете те же, казалось бы, предметы — ты же дорогу, по которой идешь, хлеба, придорожную березу — ты видишь как бы совсем по-другому, в ином соотношении и ином качестве.

Что-то похожее произошло сейчас и с Годяевым. Витражи неизвестного средневекового мастера осветили не только этот огромный собор, но и еще многое-многое далеко отсюда. Годяев как-то раз вспомнил многие полотна неизвестных крепостных художников в наших музеях. Как при ударе молнии, вспыхнул ослепительно ярким светом храм Покрова на Нерли, Кижи на Онежском озере, Соловки... Вспомнилось, что ведь и мастера, поставившие чудо-церковь у впадения Нерли в Клязьму — а она поставлена примерно в те же годы, что и собор, — мастера эти тоже ведь для нас неизвестны. Об искусном строителе двадцатидвуглавой сказки из дерева на Кижах мы знаем лишь одно имя без фамилии... И сколько их, таких чудесных творений, рассеяно по русской земле! Творений безымянных мастеров. О многих из них только то и известно, что один был из Владимира,

другой из Рязани, третий из Суздаля. Вместе с Рублевым работал «Прохор с Городца»...

Мы так и не знаем — и узнаем ли когда-нибудь! — автора гениального «Слова о полку Игореве», тоже ровесника этому собору.

Да что «Слово»! Тут хоть ученые попытаются установить имя автора, высказывают разные предположения. А сколько создано чудесных, не умирающих в веках сказок, песен, и мы даже и не задумываемся над тем, что у них ведь тоже были свои авторы. Мы просто говорим или пишем: слова и музыка народные. И все.

Товарищи его давно уже ушли, а Годяев все еще стоял под гулками сводами собора и словно решал и никак не мог решить для себя трудную задачу.

Какими мелкими, ничтожными казались ему сейчас его недавние волнения и переживания, вся эта суета вокруг выставки, заботы о том, «выгодно» ли тебя повесят и достаточно ли четко напишут твое имя!

Старые мастера не очень-то заботились об увековечении своих имен, а вот произведения их живут в веках. Андрей Рублев считал необязательным подписывать свои творения. И ничего — искусствоведы и теперь, через пятьсот лет, узнают его гениальную руку и без подписи. Узнают и Леонардо и Гойю. А вот смогут ли специалисты не то что там через пятьсот, хотя бы через пятьдесят лет различить, где Годяев, а где Бадяев?! И стоило ли обижаться, лезть в амбицию, если критик приписал его картину другому автору, — видно, не так уж она хороша, видно, не очень-то отличается от картин его заклятого друга Эрика Бадяева...

Хлопотливая забота: быть непохожим! Даже песня есть: пьем за непохожих. И это в общем-то можно понять: никому не хочется быть похожим. Вся штука в том, что истинный талант не бывает ни на кого похожим, не заботясь, не хлопоча об этом. Специально стать оригинальным легко лишь, когда речь идет о костюме или прическе.

Любим мы повторять вслед за поэтом: служенье муз не терпит суеты. Но повторяем и — продолжаем суетиться...

Неизвестный художник.

Мастер из Наумбурга.

Мастер из Суздаля.

Как прекрасно это звучит! Потому что не кто иной, как народ, этот великий неизвестный.

## ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

### 1

Он лежал напротив меня на верхней полке и, уткнув подбородок в ладони, безотрывно глядел в окно. Впрочем, это только казалось, что Федор смотрит в окно, что ему необыкновенно интересны поля и села,



мимо которых мы проезжали. Взгляд его был невидящим: глаза открыты, а смотрит человек куда-то в себя, то ли во вчерашний, то ли в завтрашний свой день глядит. Иногда только он как бы стряхивал с себя забытые, глаза под густыми, низко навешенными бровями оживали, но и тогда смотрели они куда-то поверх полей, поверх лесов, за ту волнистую линию горизонта, которая все приближалась и никак не могла приблизиться.

В дороге знакомишься быстро. Но вот уже и час и два еду я с Федором, а узнал о нем еще очень немного: был в Сибири, теперь возвращается в родные края. И все.

Тем неожиданнее для меня было, когда мой спутник, продолжая все так же глядеть в вагонное окно, вдруг спросил:

— Ты веришь в судьбу?

Я пожал плечами.

— От судьбы, мол, не уйдешь, и все такое,— как бы в пояснение сказанного добавил Федор и то ли усмехнулся, то ли просто вздохнул.— Смешно, конечно... А все же...

Он помолчал, а потом уже другим, более ровным голосом продолжал:

— Сколько лет я прожил в родном селе, куда сейчас еду! С девчонками хороводился, песни с ними под гармошку пел, провожал. И многие нравились, так нравились, что в пору бы жениться. А не женился, однако... Завербовался, уехал в Сибирь. И опять: подумать только, сколь народищу за это время повидал! В Сибири сейчас людно: с кем только не повстречаешься, даже с земляками из соседних сел приходилось сталкиваться. Глянула Сибирь — просторный край... А вот и оттуда один еду, ни с какой сибирской красавицей моя стежка не перекрестилась. Еду и всю дорогу про ту думаю, которую и знал-то каких-нибудь два дня... Ну, еще три письма написал... Эх, жаль, не слышно, а ведь сейчас небось там — Федор кивнул в окно, в пролетающие мимо нас весенние поля — жаворонки поют...

Черные, набухшие весной влагой, а теперь просыхающие поля исходили паром, дальний лес дрожал в струйчатом мареве, словно плыл куда-то. В лужах, в дорожных колеях сверкало обильное, горячее солнце, летевшее через поля и леса вместе с нашим поездом.

Федор приподнялся на месте, сунул руку в грудной карман пиджака и вытащил оттуда небольшую фотографию. На фотографии молодая женщина в платье цветочками, с пушистыми волосами, собранными в большой пучок. Рядом с ней — такая же пушистолобая девочка лет четырех-пяти.

— Дочка,— пояснил Федор.

Кто-то, должно быть, по ошибке, открыл дверь, и солнце на мгновение ворвалось в купе, сверкнуло по стенам, потолку и, снова отгороженное дверью, погасло.

— А ведь мне скоро слазить,— сказал Федор.— Вон солнце уже на закат пошло, значит, скоро...

И вот станция, где Федору выходить.

Поезд сбавляет ход. Мы выходим в тамбур. Федор весь напрягся, натянулся, рука со спичкой, от которой он прикуривает, мелко дрожит.

— Чудак ты, Федор,— говорю я ему.— Дрожишь весь, словно тебе семнадцать и ты на первое свидание идешь.

— Эх, паря! — глубоко вздыхает Федор.— Еще на какое свидание-то!

Поезд идет все медленнее, останавливается совсем. Маленькая станция, малолюдная, тихая.

Федор впереди меня выпрыгивает на перрон и быстро озирается в одну сторону, в другую. Он торопится увидеть ее, пока перрон еще пуст, пока его не заполнили, не забили вылезающие из вагона пижамы и халаты. На перроне стоит полная дама с подполковником и грудой чемоданов, мужичок в шапке, старушка, два парня с рюкзаками... Где же она?

Это Федор взглядом спрашивает у меня, и столько тревоги и недоумения в его глазах, что я отвожу свои в сторону. И тогда-то я вижу ее, эту женщину, которую мы ищем. Она идет с девочкой откуда-то со стороны, идет, все ускоряя шаг, прямо на нас. Она не видит, не замечает попадающихся на ее пути пассажиров, она видит только Федора. Одного Федора. И, словно почувствовав ее взгляд, тот резко оборачивается.

Женщина уже совсем близко. Но чем ближе она подходит к Федору, тем тише, труднее становится ее шаг. Еще тише, еще...

— Здравствуй, Федя,— тихо, стараясь скрыть свое волнение, говорит женщина.

— Здравствуй, Вера.— Федор переводит глаза на девочку, нагибается к ней: — Здравствуй, Танюша.

Девочка смущается, робет и закрывает тылом ладони лицо. Что же говорить дальше? Они не знают и молчат.

— Я тебя сразу узнала.

— Я тебя тоже.

Вера и похожа и не похожа на ту женщину, которую я видел на фотографии. То же платье цветочками, те же густые пушистые волосы, собранные на затылке в тяжелый узел, маленький нос на широком лице, мягкие полные губы. И все-таки что-то новое, незнакомое проглядывает в этом лице. Может, вот это ровное сияние глубоких ясных глаз, которое, конечно же, нельзя передать с помощью хоть какого аппарата?

Поезд трогается, и я долго еще гляжу с площадки вагона, как они все трое идут мимо станционных построек и выходят на полевую

дорогу. Закатное солнце неохотно гаснет за дальним перелеском, и в его последних лучах четко видны три знакомых силуэта, уходящих все дальше и дальше.

Я не сразу понял, отчего вдруг так защемило сердце, будто ему сразу стало тесно и неприятно в груди. Хорошо, когда тебя кто-то ждет! Меня нигде и никто не ждал. Меня ждали лишь мои дела: в дальнем районе какая-то незнакомая мне женщина (а может, и знакомая — дальний район был моей родиной) выращивала прекрасную коноплю — об этом надлежало написать в нашу областную газету очерк...

Это, наверное, часто так бывает: пока человек рядом, ты как-то не торопишься узнать о нем то или это. А вот разошелся, разъехался с ним в разные стороны и сразу почувствовал вдруг обострившийся интерес к его жизни, понял, что самое-то важное в нем ты в общем так и не узнал.

Что за человек Федор? И кто эта встретившая его женщина с дочкой? Почему он уехал от них, а теперь вот снова вернулся? Никто уже не мог ответить на эти вопросы, и потому, может быть, они так настойчиво, снова и снова лезли в голову. Хотелось знать, как сложится дальнейшая судьба этого хмуроватого, замкнутого человека. Тем более что с нынешнего дня, вот с этой встречи у поезда, в жизни Федора начиналась новая полоса...

Бывает, возьмешься читать чем-то захватившую тебя с первых же страниц книгу, дойдешь, что называется, до самого интересного места, и как раз на том месте по какой-то неотложной причине тебя прервут, а то и вовсе книгу заберут. Немного подосадуешь, а потом начинаешь думать-гадать: как там да что будет дальше с героями книги.

Книгу своей жизни Федор лишь чуть-чуть приоткрыл передо мной, но получилось так, что открыл на самых важных, самых интересных страницах. Хотелось заглянуть в продолжение, хотелось знать, что будет дальше, чем будут заполнены новые страницы.

Но как и что будет дальше — этого пока не знал и сам Федор. Потому, надо думать, он и ехал в таком тревожном напряжении, потому и говорил мало, говорил, не договаривая...

У какого-то французского писателя приходилось читать: как плохо, что мы не знаем, что будет с нами через месяц, через год, через десять лет... Как хорошо, что мы этого не знаем!

## 2

Месяца через два, если не больше, уже на переломе лета, опять случилось мне быть почти в тех же местах, где сошел Федор с поезда.

Колеса проселками, я как-то к вечеру попал в один колхоз.

И вот, сидя в правлении этого колхоза и слушая, как председатель

разговаривал по телефону с каким-то Федором, а повесив трубку, еще и ругнул его «чертом косоруким» за то, что тот требовал чего-то такого, что заставило председателя и раз и два поскрести лысину, я вспомнил о дорожном знакомстве и спросил, а что это за человек Федор.

— Что за человек? — Председатель опять почесал затылок, потом взял со стола резное деревянное пресс-папье, покрутил его в руках, подумал. — Столяр он. И как работник — дай бог. Это так я его косоруким, между прочим, руки у него золотые... А как человек... — еще подумал, подыскивая нужное слово, — человек, как бы сказать, с чужинкой. Непохожий какой-то. Строгает, строгает, а потом вдруг ни с того ни с сего возьмет стружину посмолистее и начнет ее на свет разглядывать, нос в нее воткнет, нюхает. И думает о чем-то, будто и он и не он это делает...

«Не мой ли знакомый?» — подумал я. А председатель между тем продолжал:

— В больничку нашу, где его жена работает... — тут он на секунду запнулся, — да теперь, считай, уже жена, недавно расписались. Так вот в больничку для ребятишек, которым там тоже бывать случается, всяких стульчиков, полочек, игрушек понаделал. Да все так здорово. Я говорю, выписывай счет, оплатим, не такой уж бедный колхоз. А он рассмеялся, будто я неумное что сказал. «Чудак, — говорит, — ты, Бородин...» И все. Значит, не он, а я чудак...

«Нет, пожалуй, это не тот Федор, какого я знаю...»

— А то как-то раз, — председатель, должно быть, вспомнив что-то, добродушно усмехнулся, — за дворами дело было, он там рамы у коровника чинил — гляжу, стоит и куда-то в поле смотрит. Да так-то пристально, ну будто дело делает. Подхожу, стал рядом, гляжу: за полями, над лесом радуга горит. Неужто на нее воззрился мужик? На нее! А меня заметил еще и пригласил: гляди-ка, мол, какая красота, будто и он и я эту красоту в первый раз увидели...

Председателя вызвали по какому-то срочному делу, и он заторопился.

— В другой раз доскажу. А то так, если интересно, сам сгуляй в соседнее село, в Чистую Поляну — он там живет, Федор-то. После объединения это вторая бригада колхоза. Как войдешь — не то седьмой, не то восьмой дом на левой руке. Да там спросишь...

Я, конечно, «сгулял» до Чистой Поляны. Было туда каких-нибудь два километра, и через полчаса я уже входил в раскинувшееся на берегу реки зеленое, очень уютное село. Школу на околице окружали высокие тополя; еще какое-то большое белое здание, должно быть, больница, тоже все было в зелени; позади домов тянулись густые сады.

Вот и седьмой дом на левой руке.

Я открыл калитку, спросил у сидевшей в глубине двора на крыльце старухи, здесь ли живет столяр Федор. Старуха внимательно посмотрела на меня из-под кустистых сердитых бровей:

— А тебе по какому делу он надобен?

По бровям этим, по другим чертам хмуроватого лица в старухе угадывалась мать Федора, и я, осмелев, подошел поближе. Только как объяснить ей, зачем и почему я пришел? Я сказал, что нужен мне ее сын не по делу, а просто так: нам с ним как-то приходилось встречаться.

— А откуда тебе известно, что я — мать? — все так же строго спросила старая женщина. — Мы-то с тобой первый раз видимся... Да ты присядь. Он, должно, скоро зайвится, разве что в больницу за Верой зашел.

Я не очень связно начал объяснять, как и чем Федор похож на мать, про строгость, про хмурость что-то сказал.

— Строгай, говоришь? Сердитай? — Старуха тихонько усмехнулась. — Да ты, видно, парень, или совсем не знаешь Федора, или с кем-то путаешь. Строгай! — еще раз повторила она, нажимая на «а». — Если бы строг! Это только с виду. Стеснительный до края, дите малое, для всех доброе. А строгостью это он только закрывается.

Я уже начал сомневаться: и в самом деле, не померещилось ли мне сходство, тот ли Федор, которого я знаю, живет в этом доме?

— Если хочешь знать, строгости-то ему и не хватает. — Женщина тяжело вздохнула. — И это ладно, баба такая попалась, что доброту его в свою пользу не оборачивает... Ничего не скажу: согласно живут. Правда, чудно как-то, непонятно. Другой раз усядутся вечером здесь, на крыльце, и сидят молчком, ровно неженатые, на реку да друг на дружку глядят. А то в лес как-то пошли, цельный день прошатались, а ни грибов, ни ягод, так, самую малость. И ладно бы лето не грибное...

Старуха не договорила.

В улице, за домом, слышался смех, детский крик. А вот замелькала за частоколом голубая рубашка, а за ней, чуть пониже — беленькое платице. Калитка рывком открылась, в нее вбежал Федор — я его узнал сразу же — и, не замечая нас, свернул к саду, затаился за кустом сирени. Следом же вбежала Танюшка, тоже юркнула за куст, налетела на Федора и повалила его на траву.

— А-а, попался! — Танюшка торжествующе уселась верхом на Федора. — Смерти или живота?

— Ой, живота! — тяжело дыша то ли от бега, то ли от смеха, взмолился Федор. — Ой, больше не буду...

Первой меня заметила теперь только вошедшая во двор Вера.

— Хватит вам дурачиться-то! — строго-ласково сказала она. — К нам вон гости...

Танюшка перестала тузить Федора, тот приподнялся с травы, поглядел из-за ее плеча на крыльцо, вскочил и быстро пошел — что там пошел! — побежал ко мне. И такой-то радостью весь засветился — ну, родного брата встретил, с которым десять лет не виделся. Перед

самым крыльцом — похоже, застеснялся своей радости — пошел потише.

— Ну, это здорово, что ты приехал! — Федор с размаху хлопнул ладонью по моей, крепко стиснул. — Молодец! Ай, какой молодец!.. Это, мама, мой... — Федор чуть не сказал: друг, — мой знакомый товарищ. А ты, Вера, и ты, Танюха, небось помните...

Танюшка спряталась за Федора, а Вера сказала:

— Ну как же, конечно... Да хватит тебе тормозить-то его. Приглашай в дом. Человек с дороги.

— И верно. Пошли.

В доме чисто, уютно и, если так можно сказать, весело. На спинках стульев цветут подсолнухи; веселой хитроумной резьбой украшены книжная полка, комод. Вот колобок катится от волка к медведю, вот на возу дров едет Емеля «по щучьему велению, по своему хотению». А вот двое маленьких глядят на большую радугу над лесом... На полке рядом с Пушкиным и Некрасовым — книги о травах, о птицах, об охоте.

Вера занялась ужином, а мы с Федором умылись и на том же крыльчке сели покурить. Танюшка не отходила от Федора ни на шаг. Поначалу она дичилась меня, пряталась за Федора, выглядывая то из-за плеча, то из-под руки.

— Да не бойсь, не съест он тебя, — смеялся Федор, зажимая подмышкой Танюшкину голову. — Ну разве что нос или ухо откусит — так новые вырастут...

— Да-а, — с недоверием, но на полном серьезе тянула Танюшка, — вы-вырастут!..

Но вот она по какому-то своему делу убежала в сад, и я, улучив момент, спросил Федора про Веру. В сущности, знал я про нее еще очень мало. Почти ничего.

— Когда в Сибирь завербовался, первый-то раз ее увидел, — Федор сказал это тихо, раздумчиво, словно хотел опять в своих мыслях увидеть Веру в самый первый раз. — Спускаюсь с райисполкомовского крыльца — навстречу женщина. «Вы, говорят, из Чистой Поляны. Нельзя ли с вами доехать?» «Пожалуйста, говорю, места не жалко». У оградки девочка на чемоданах, дочка. Поехали. Тары-бары. Медицинская сестра. Была замужем, разошлась. Едет работать в нашу больницу. Привез ее в село, а председатель: «Куда-то надо определять гражданку на жительство. Может, к себе возьмешь — все равно уезжаешь, изба пустая». «Не знаю, говорю, покажется ли ей с матерью — старуха с характером, а так почему же не взять». Словом, поселилась у нас, а на другой день я уехал. Уехал и — хоть бы что. Ни синь пороха. Потом уж только там, в Сибири, нет-нет да и начало думаться-вспоминаться... Еще когда сюда ехали, уже перед Чистой Поляной оглянулся я как-то на свою медсестру, а у нее в глазах слезы. Затревожился: уж не обидел ли, думаю, каким словом? Или горькое

что вспомнила? А она улыбнулась тихонечко так: от радости, говорит, это я — землей пахнет, жаворонки поют. Уж сколько лет не видела, не слышала, забывать стала... Так вот интересно: не что другое, а именно это вот «землей пахнет, жаворонки поют» там, в Сибири, мне чаще всего на ум приходило. Будто нет-нет да кто и шепнет на ушко: жаворонки поют... И сразу же и жаворонков тех услышу и ее увижу: улыбается, а в глазах слезы дрожат. И так-то все ясно, так резко все увижу, что у самого что-то там внутри дрогнет...

Сначала запел тихонько, а потом густо зашумел, забулькотел самовар.

— Стоп! А знаешь что,— вдруг осенило Федора.— Вот что. Не будем ужина дожидаться! Попьем чайку — самовар вон уже готов... Так вот, побалуемся чайком, и все. А ужинать... ты давно рыбацкой ухи не отведал? По глазам вижу, что давно. Так вот, зальемся-ка мы с тобой на рыбалку с ночевкой — нынче суббота — и такую уху сочиним, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Идея Федора мне понравилась, и мы, не теряя времени, сели за самовар.

Танюшка и за столом вилась около Федора: лезла на руки, просила подуть на «кусучий чай», кокалась «носик в носик» яйцом — чье крепче.

— Танька, да оставь ты его хоть на минуту в покое! — вроде бы строго выговаривала дочке Вера.— Дай поесть по-человечески.

— А она мне не мешает,— весело отвечал Федор, и Танюшка жалась к нему еще плотней.

Среди незнакомых людей я обычно чувствую себя стесненно. А в этом доме мне было хорошо, свободно. Радостно было глядеть на эту согласную семью. Всею в доме был задан какой-то очень сердечный, очень чистый и ясный тон.

Лишь одно оставалось для меня загадкой: как и чем полюбилась Федору Вера? Смотрел я на нее и старался смотреть самыми хорошими глазами, а про себя думал: прошел бы мимо и не заметил. И не в том дело, что не красавица Вера, что и нос у нее мелковат и вообще лицо не очень-то приметное. Бывает и у некрасивых людей — то ли в выражении лица, то ли в стати, может быть, даже просто в походке — какая-то своя особишка, или, как еще говорят, изюминка. Такой изюминки у Веры я не находил. Где и в чем она?

Хозяйкой за столом была Вера. Похоже, такая роль невестки чем-то и нравилась матери Федора, а чем-то и нет. По всему видно, старуха считала, что потчевать гостя, то есть меня, надо бы поусерднее, а не просто: «Вам еще стаканчик?» И Танюшку Вера одергивала скорее всего потому, что знала: мать боится, как бы ее сын из-за девочки не остался голодным. И, конечно, не по сердцу было старухе, что сидит сын за столом если не гостем, то и не хозяином, как бы хотелось.

На это самое сетовала она, когда мы после чая сидели с ней на крыльце, пока Федор готовил снасти и вместе с Танюшкой копал червей.

— Ну, видал, какой он строгий да сердитый? То-то же... Вера — баба хорошая, ничего не скажу. Себя блюдет и девчонку зря не попускает, не балует. Только уж Федор с ней лишку мягок. Воск и воск. Как не мужчина вовсе...

— Барабанщик — от барабана. А громко — от грома? — это спрашивает в углу двора Танюшка у Федора. — Червяки живут в земле, а что они едят?..

Огромное солнце тонуло в заречных даях. На лугу, на садах лежал тихий малиновый отсвет, и все вокруг — и далекие, замирающие поля, и недвижная, будто остекленевшая река, и наш двор с глухим, медленно погружающимся в сумерки садом и невнятным детским лепетом — все дышало таким безмятежным покоем, такая тихая, некричащая, неброская и оттого еще более впечатляющая красота обнимала со всех сторон, что хотелось думать только о чем-то большем, отрешенном от этой вот пролетевшей и уже безвозвратно канувшей в вечность минуты. Все мелкое, повседневное теряло свое значение и свой смысл. Думалось, что, кроме твоей собственной жизни с ее радостями и горестями, есть другая, большая, всеобъемлющая жизнь и та жизнь вечна, та жизнь была, есть и всегда будет. Она была, когда ты еще на свет не появился, она не изменит своего вечного хода и когда тебе уже не будет на земле. От этих мыслей было немножко грустно, но в них было и что-то утешающее, примиряющее тебя с мудрым порядком постоянно обновляющейся и потому вечно молодой жизни.

Подшел Федор с банкой червей, вымыл в кадке руки.

— Готово!

Мы облачились в ватники, взяли снасти, ведро с картошкой для ухи и пошли.

— По дороге не забыть луку с укропчиком сорвать, — сам себе наказал Федор.

### 3

Огородами мы спустились к реке и пошли ее берегом. Легкий туманец стлался над водой, то исчезая, то откуда-то, должно быть, с лугов, наплывая вновь. В заводях плескала рыба, и после каждого всплеска долго и далеко бежали по речной глади круги.

Одну такую укромную, наглухо укрытую прибрежным ивняком заводь мы и облюбовали.

Федор был искусный рыбак. Я еще только-только успел разобрать лесу и закинуть свою удочку, а он уже тащил большого красноперого окуня. Следом же за первым повис над водой, отчаянно забил хвостом, зарепыхался второй.



Часа не прошло, а у нас уже потрескивал костер, и над ним висело распространяющее вокруг себя ароматное благоухание ведрко.

Вечерняя заря потухла. Небо в том месте, где село солнце, стало совсем темным. Только высоко-высоко, почти в зените, еще горели отблески невидимого, светившего где-то там, за краем земли, солнца, и река тоже слабо, сумеречно теплилась этим повторно отраженным с неба светом.

— Хорошо! — откидываясь на траву, проговорил Федор. — Любо ночью в поле!

В траве вокруг нас происходило еле внятное шевеление, позванивали кузнечики, в реке время от времени глухо плескала рыба, но тишина ночи, растворяя в себе эти звуки, становилась все полнее, весомее, ощутимее. Тишина слушалась, как музыка.

— Помню, как-то в Сибири, в Саянах, вот так же у реки пришлось ночевать. И что-то я возился долго, никак не мог угнеститься. А старик хакас мне: «Не мешай!» «Что не мешай?» — не понял я. «Не мешай слушать». Уж не зверя ли какого, думаю, зачуял старик. «Не мешай ночь слушать...» Вроде бы смешно. А подумаешь — мудро...

Бывает, что чем больше узнаешь человека, тем меньше он становится интересен тебе. С Федором же мне было интересно и разговаривать и даже просто вот так лежать на траве и слушать ночь. Правда, я еще не много знал о нем. Вот про ту же Сибирь. Как он туда попал?

— Как попал? — Федор задумался.

Мы уже поели ухи и теперь курили. Потрескивал при затяжках самосад в сигарках, потрескивал костер.

— Видишь ли, любопытный я до всего, много мне знать хочется. И вот жил, жил в селе, а все думка была: как оно там, за селом, да за полем, да за лесом, да еще подальше, за Уральским хребтом? Интересно взглянуть на землю. Ну, это одно. А второе то, что каждый человек счастья в жизни хочет найти. А в своем селе я вроде бы все закулки обшарил, а жар-птицу так и не повстречал.

Федор помолчал немного.

— И вот поехал я в Сибирь. Определился на одну стройку, с нее переехал на другую. И будто за чем гонюсь. Думалось-то — за счастьем своим, за жар-птицей. А только догнать никак не могу. На Ангаре остановился. Дай, думаю, немного на одном месте побуду, на самого себя оглянусь... Работу выбираю потяжелей, поопасней, не в какой-нибудь столярной мастерской, а опалубщиком, на морозе да на ветру. Вот и пальцы тогда поморозил. — Федор пошевелил искривленными пальцами левой руки. — Ну да не об этом речь... Думаю я, думаю о себе, о своей жизни и начинаю понимать, что хоть и мерещится нам жар-птица обязательно в дальней дали, за горами да за лесами, а только это и так и не так. Чем больше я ездил, чем больше всякой красоты видел, тем чаще и чаще приходили мне на память родные,

вот эти наши, в общем-то не такие уж и ах красивые места. И вот эти поля и вот эта речка. А ведь я видел Енисей, Ангару — что еще может быть красивей! И вот еще какая штука. Не побывай я в Сибири — ни той бы красоты не знал, ни этой, выходит, как следует не оценил. И как бы у нас с Верой вышло — тоже неизвестно...

Костер начал гаснуть. Я подбросил сучьев, они зашипели, обволоклись дымом, а потом разом вспыхнули. Заплясало, заструилось, затрепетало веселое, живое, все время разное, то растущее, то падающее и снова взрывающееся пламя.

Федор глядел на костер, и по лицу его блуждала едва заметная, как бы затаенная улыбка. Я вспомнил, как он обрадовался, когда увидел меня, и подумал, что это, наверное, оттого, что в первый раз, в вагоне, мы виделись в смутное для него время. Теперь ему захотелось, чтобы и я понял его тогдашнего и увидел таким, каков он был сейчас. Потому он так и словоохотлив нынче.

— Говорят: суженая. Значит, вроде бы предназначенная судьбой. А что такое судьба? Помнишь, я тебя спрашивал? Это я вот в каком смысле. Никакой судьбы нет и все такое. Человек проникает в тайны бытия, и все прочее. Ладно. Хорошо. Согласен. А все ж таки, как это объяснить, что вон где я только не бывал, какие тыщи людей не видел, а почему-то к Вере вернулся. Что я, лучше, красивей ее женщин не видал? Видал. Так в чем тут дело? Ну, вот ты грамотный, ученый — объясни!

Что я мог объяснить Федору?

Мне вспомнилась курносая семнадцатилетняя девчонка Надя. Девчонка как девчонка, как многие другие. Но однажды она вдруг стала для меня не «как другие», а особенной. Стала вдруг всех красивей и всех умней. Я попытался сейчас вспомнить, за что я полюбил Надю, и не мог. И не потому, что с тех пор уже много лет миновало. Я просто не задумывался тогда над этим «за что». И нынче зря я, пожалуй, отыскивал что-то такое в Вере, чем бы она, по моему разумению, могла понравиться Федору... Я вспомнил: за столом Вера как-то подняла на Федора глаза, и словно осветилось, засияло непонятым светом все ее лицо, и я забыл в ту минуту, велик или мал у нее нос, красив или некрасив рот. Конечно, одного такого взгляда мало, чтобы полюбить человека. Это может быть разве искоркой, от которой загорается костер. А может, той искоркой было «жаворонки поют», сказанное Верой так, что Федор и сам словно бы впервые в жизни услышал тех жаворонков... Искорки могут быть разные. Остальное же зависит, наверное, уже от самого любящего, от того, насколько сильно его чувство, насколько богат он сердцем. Если богат — костер будет гореть и ярко и долго.

Надю — теперь уже Надежду — я видел два месяца назад. По случайному совпадению она именно и оказалась той женщиной, о которой мне надо было писать очерк. Надежда вышла замуж

в соседнее село, и у нее теперь другая фамилия. Живет хорошо, муж любит ее. Любит по-настоящему. А ведь она осталась все той же, какой я ее знавал когда-то, разве что постарше стала. Так почему же, почему те искорки у меня погасли, а у другого человека разгорелись ясным огнем?!

Сотни, тысячи книг написаны о том, как возникает «вдруг» между юношей и девушкой, между мужчиной и женщиной то таинственное чувство, которое все мы называем любовью. Тысячи книг! Но и до сих пор никто не знает, как все же и почему оно возникает. Плохо это? Да как сказать. Может, и плохо, а может, хорошо. Скорее, все-таки хорошо. Как только мы это узнаем и точно сформулируем, как только сия великая тайна перестанет быть тайной — сразу поскукнеет, померкнет весь окружающий человека мир...

— Нет, много еще тайн на свете,— после паузы снова заговорил Федор.— Возьми Танюшку — тоже ведь тайна. Она лепечет-лепечет что-то, и не такое уж важное и интересное, да что там важное — обыкновенные пустяки, вздор, а я слушаю, и у меня сердце радуется. И я готов слушать этот вздор, всякие там «отчего» да «почему» хоть целый день с утра до вечера. А почему так — опять не объяснишь...

Все меньше звуков в ночи, все тише они. И поля молчат, и село уснуло, и все вокруг заглохло. Ночь как бы постепенно наливалась тишиной и вот уже налилась до предела, до самых краев.

— А на природе, на вас, что вокруг нас, глаз кинь,— продолжал Федор,— сколько тут всяких тайн, сколько чудесного и удивительного! Вот только с годами мы перестаем замечать эти чудеса... Танюшка как-то схватила меня за руку, потащила в сад, в уголок: «Гляди-ка, какое чудо!» Я не сразу понял, о чем это она. «Да вот же»,— и показывает на цветок. И не на какой-то там редкостный, необыкновенный, нет — скромный цветок, мимо которых мы, взрослые, проходим, что называется, чувств никаких не изведав: подумаешь, какая-то там наперстянка — и не такое выдвали! И считаем при этом, что дети — они еще маленькие, глупые, а мы — мы умные. Нам все известно: мы знаем, что вот это пестик, а это тычинка — и чему же тут, собственно, удивляться?.. Вот мы с тобой закатом любовались. А скажи другому — так он тебя еще и на смех подымет: что я, закат не видал? А ведь сколько их ни смотри, они же все разные, и каждый раз ты, считай, видишь их в первый раз... И не в том дело, что обязательно ахнуть надо: ах как красиво! Не глазами — сердцем надо удивляться...

Федор опять помолчал.

— Ты мне тогда, помнишь, про первое свидание сказал? Когда в тамбуре с тобой стояли. Так вот, я уже не знаю, как тут выразиться, а только теперь ко мне словно бы опять детство вернулось. Опять я каждое утро словно бы на первое свидание со всем, что вокруг меня, выхожу. Все-то мне внове, и все-то мне приметно — и облачко в небе

и малая травинка на земле,— словно бы зрения у меня прибавилось. И жить от этого интересно!..

Костер наш потух совсем. Синий сумрак сомкнулся над землей и как бы отделил ее от неба. Теперь стало видно, как там, вверху, медленно делалось что-то, происходили какие-то неуловимые для глаза изменения. Слабый, едва различимый, заревой свет, переместившийся под Большую Медведицу и погасший там, теперь снова возник, только восточнее, а весь остальной небосвод еще глубже потемнел, и звезды разгорались все ярче, будто росли, ширились, приближались к земле.

Все кругом лежало в полном безмолвии и неподвижности. Мы были одни в этом огромном подзвездном мире. И я подумал о том далеком пращуре, о том человеке, который первым пришел сюда, на эти тогда еще дикие, покрытые сплошным непроходимым и нехоженым лесом берега реки, облюбовал и очистил поляну и засеял ее хлебными зернами. А в реке он ставил переметы или сплетенные вот из такого же лозняка вентери. И в том, что окружало того человека, было много удивительного и таинственного. Вот только что светило солнце, а вот уже и нет солнца, его закрыли тучи, а потом в темных тучах засверкали белые змеи, и небо раскололось со страшным, ужасающим грохотом, словно обвалилось на землю. Полились нескончаемые потоки воды. Но вот небо снова очистилось, и в нем, над далекой речной излучиной, встала чудесная цветная дуга. Откуда взялась в пустом небе такой необыкновенной дуге, кто воздвигнул ее там? Кто гремит и сверкает в небе? Кто по ночам кричит страшным голосом в лесу?.. Пращур по-своему пытался объяснить себе все эти чудеса, но они для него так и оставались чудесами... Мы знаем, и почему гремит гром и откуда возникает вдруг в небе радуга. Мы знаем все. И это, конечно, хорошо. Плохо, что, зная все это — ты прав, Федор! — мы перестаем дивиться тому чудесному и удивительному, чем полон мир.

Мы решили не ложиться: боялись проспать самый клев — утреннюю зорьку. Да теперь, наверное, и недолго было до нее.

Заметно посвежело. Легкий туман лег на реку, на обступивший ее вняк.

Но вот еще ближе к востоку передвинулся далекий, исходящий из-за края земли свет, туман слегка порозовел и вроде бы стал разрезаться. На наших глазах начало совершаться великое таинство. Из тумана, из ночи, из небытия постепенно, незаметно проступили кусты, обозначилась река, тот берег и еще что-то неясное за ним. И все пока еще слабо различимо, расплывчато, неопределенно, как бы готовое принять и такую и такую форму, готовое окраситься и в тот и в другой цвет. Будто мир вокруг нас сотворялся заново, в самый первый раз. Сотворялся вот сейчас, на наших глазах, и нам предстояла первая от века встреча, первое свидание с ним.

## НЕСМОЛКАЕМАЯ ПЕСНЯ

Это было на Лене.

Мы плыли местами, где река, уже набрав силу, так далеко раздвинула свои берега, что они даже у горизонта виделись на большом удалении друг от друга.

Неохватная ширь Лены, ее мощное неостановимое движение к океану завораживали, может быть, даже подавляли. Невидимая глазу, но как бы чувствуемая беспредельность пространства по берегам реки еще более усиливали впечатление ее могущества и суровой первозданной красоты: завиднеется небольшое селение на берегу, и опять на десятки и десятки верст — безлюдье, бескрайняя зеленая тайга. Даже наше небольшое суденышко, идущее серединой водной глади, и то, казалось, своей малостью лишь утверждало великость реки и всего, что по ее берегам.

Судно везло на новое место, в низовья Лены, изыскательскую экспедицию. Большая часть ее состава были люди бывалые, повидавшие Сибирь, Лена им была не в диковинку, и они довольно скоро разбрелись по кораблю, занявшись каждый своим делом.

А мы, двое, попавшие в эти места впервые, сидели на толстых канатах на носу судна, глядели во все глаза на Лену, на медленно плывущие навстречу нам берега и не могли наглядеться. Великая Лена словно бы лишила нас дара речи; мы сидели в полном молчании. Любые слова показались бы жалкими, ничтожными рядом с тем, что проходило перед нашими глазами, что нас окружало. Да в словах и не было никакой необходимости, мы уже давно привыкли в такие минуты понимать друг друга без слов. И сейчас нам достаточно было время от времени встретиться взглядами или коснуться ладонями, чтобы выразить чувства, которые каждый из нас испытывал. Во всяком случае, так мне думалось, так мне казалось...

День клонился к вечеру, солнце опускалось над левым берегом все ниже, и в то время, как там постепенно все затуманивалось, подергивалось синей дымкой и сливалось — правый берег и все на нем обрело все большую резкость и отчетливость. Каждый изгиб его, каждое дерево у береговой кромки виделись светло и рельефно.

Нежная голубень реки стала словно бы слегка рыжеть, золотиться, особенно густо золотой отсвет ложился на речную даль впереди, там, куда мы плыли. И если долго, не отрываясь глядеть в ту золотисторозовую даль, то начинало казаться, что из мира, хоть и прекрасного, но все же реального, плывем мы в мир уж и вовсе сказочный.

И вдруг где-то совсем рядом возникла и зазвучала тихая песня. Я еще не успел разобрать ни одного слова, не успел уловить мелодии, но песня уже тронула, задела меня за сердце. Задела болью, которая то затаенно, то открыто звенела тонкой струной в грудном, как бы выдающем женском голосе.

Я оглянулся. Недалеко от нас, облокотившись на борт и глядя в ту самую золотую даль впереди, стояла светловолосая девушка в синей нейлоновой стеганке нараспашку и в синих же, под цвет куртки, брюках, заправленных в кеды. Пела девчонка без малейшего напряжения, пела не для кого-то, а для себя. Как знать, может, она вот так разговаривала сама с собой или с кем-то, кого здесь не было, но ей верилось, ей хотелось верить, что он услышит ее голос, ее тоску и печаль. А может, она тоже видела всю эту красоту в первый раз, и ей хотелось поделиться переполнявшими сердце чувствами, поделиться было не с кем, и оттого радость ее была неполной...

Я по-прежнему не вникал в слова песни — к тому же девушка и не старалась внятно выговаривать их, ведь она пела всего лишь самой себе, — я вслушивался в звучание голоса, в его переходы и переливы. И неожиданно почувствовал, как начинает теснить в груди, будто мне стало не хватать воздуха (это на таком-то просторе!), а вот и защемило, — защемило сладкой невыразимой печалью сердце. Почему и откуда это? Нет у меня никакой печали, а если бы и была — мне есть кому высказать ее. Мне есть с кем поделиться и радостью. Так отчего же щемит в груди?.. А еще и то непонятно, что мне больно слышать, как поет девушка, к горлу подступает непрошенный комок, а я слушаю и боюсь, как бы не оборвалась, как бы не кончилась эта тихая, рыдающая песня. Мне хочется — не знаю почему, — чтобы она звучала несмолкаемо...

Чаще всего свои чувства мы выражаем в слове. Но каким грубым и нищенски бедным кажется нам наш прекрасный и неисчерпаемо богатый язык, когда мы начинаем выискивать в нем слова, которые бы точно и полно выразили то, что у нас на сердце! Да при этом нас еще и заботит, а правильно ли, а хорошо ли нас поймет тот, кому мы изливаем свою радость или свою печаль.

Песня льется из сердца в сердце. И человек, наделенный голосом, может через песню не только высказать себя, он может и надеяться, что его хорошо поймут: ведь из сердца — в сердце!

Но...

Но если точно найденное слово надолго — бывает, что на века! — остается жить в памяти людей, остается в книгах, песня умирает вместе с певцом. То есть слова песни и ее мелодия остаются, но ведь то, что написано на бумаге с помощью букв и нот, — еще не песня, а только то, что может стать песней. Песни без голоса нет. Буквы и нотные значки типографская машина может повторить тысячи раз. Голос неповторим. А голос уходит вместе с певцом.

Я всегда верил, что древние греки были не менее искусны и гениальны в музыке, чем в литературе, скульптуре и архитектуре. Но если литература и многие другие искусства до нас дошли, то от песен остались только слова. Как песни пелись, мы не знаем. Песни умерли с их исполнителями...

Значит, рано или поздно и эта песня умрет и от нее ничего не останется?.. Поверить и смириться с этим было обидно и горько.

Погруженный в эти грустные мысли, я не сразу отозвался на робкое прикосновение прохладной близкой руки. А когда повернул голову, то увидел в ее широко раскрытых глазах слезы.

— ...еще больше...

Она сказала начало фразы одними губами, а закончила тихим, едва внятным шепотом. Она знала, что я ее и так пойму, а своим голосом ей, наверное, не хотелось мешать тому прекрасному голосу, той печальной песне любви, которую мы слышали.

Мне подумалось спросить ее: девчонка изливает боль своего сердца — это понятно. А откуда и зачем твои слезы, если сквозь них в глазах светится не печаль, а переполняющая тебя радость?! Но ведь о таких вещах, наверное, не спрашивают. И я только улыбнулся в ответ, вспомнив, как однажды, в какую-то праздничную сладкую минуту, она так же вот сказала: «Я тебя люблю...», помолчала немного и добавила: «Я тебя очень люблю!»

Изливая свою душевную боль, девушка, должно быть, постепенно превозмогала ее, потому что в ее голосе все явственнее слышалось уже не страдание, а тихая, просветленная печаль. Как бывает в детстве: наплачешься и словно бы выплачешь свое еще совсем недавно казавшееся неизбывным горе. Девушка тоже словно бы умылась своими слезами, и взгляд ее на мир начал просветляться.

А мне было по-прежнему невыразимо грустно. Непроизвольно, не отдавая себе отчета, я время от времени оглядывался назад, и радость от только что увиденного гасилась в моем сердце сожалением, что все, что проплывает перед твоими глазами, уходит безвозвратно. Уходит навсегда... Можно приехать на Лену еще раз? Но ведь в другой раз и Лена будет уже не та, и ты приедешь другим, и этой песни не будет.

Неужто и песня так же уйдет в небытие, уйдет безвозвратно?

А может, все же не уйдет, не умрет?

В мире материальном, вещном существует закон сохранения материи. Материя может переходить из одной формы существования в другую, но исчезнуть не может. А на область духа этот закон разве не распространяется? Мы не знаем, какие песни пела наша Киевская Русь, не знаем и с какими песнями шли русские ратники во главе с московским князем Дмитрием на Куликово поле. Но ведь песни и Киевской и Московской Руси, надо думать, веселили народное сердце, прибавляли любви к своей земле и укрепляли веру в свои силы. И, значит, можно ли говорить, что они умерли вместе с теми, кто их пел? Песни переливаются из сердца в сердце. И разве они не перелились, не передались в новые поколения то ли молодецкой удалью, то ли широтой русской души, ее радостью и печалью?!

Певцы умирают, но их песни остаются жить в сердцах других людей. Надо только, чтобы песня трогала или, как мы еще говорим, брала за сердце. Тогда она остается с нами уже тем хотя бы, что делает нас немного — пусть совсем немного — лучше. Кого — храбрее, кого — добрее, кого — нежнее...

Сотни, тысячи лет несмолкаемо звучат над планетой песни!

Она опять тихонько тронула меня за руку. Должно быть, моя невольная улыбка навела ее на мысль, что я или не расслышал или не понял сказанных ею слов. А может, ей еще раз захотелось повторить те слова, потому что они особенно полно выражали ее сиюминутное состояние. И она сказала:

— Я люблю тебя еще больше...

...Это было на великой сибирской реке Лене.

Было то ли год, то ли десять, а может, сто или тысячу лет назад.

Было со мной, а может, и с кем-то из вас...



## **СО Д Е Р Ж А Н И Е**

<b>За все в ответе . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>Мастер из Наумбурга . . . . .</b>	<b>24</b>
<b>Первое свидание . . . . .</b>	<b>30</b>
<b>Несмолкаемая песня . . . . .</b>	<b>43</b>

**Семен Иванович ШУРТАКОВ**

**НЕСМОЛКАЕМАЯ ПЕСНЯ**

Редактор **Е. Ф. Олейник**

Технический редактор **О. Н. Ласточкина**.

---

Сдано в набор 06.12.84. Подписано к печати 10.01.85. А 00306. Формат  $70 \times 108^{1/32}$ . Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,02. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 85 000 экз. Изд. № 331. Зак. № 3984. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



### **ВКЛАДЫ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ**

● Сберегательные кассы помогают трудящимся более правильно строить личные бюджеты, рационально расходовать заработную плату и другие денежные доходы.

● Путем регулярных взносов на счета по вкладам миллионы советских граждан сберегают необходимые суммы денег на различные цели, в том числе и для покупки товаров длительного пользования. Многие трудящиеся за счет своих сбережений совершают увлекательные путешествия по родной стране и в зарубежные страны.

● Сберегательные кассы принимают от населения вклады нескольких видов: до востребования, срочные, срочные с дополнительными взносами, выигрышные, денежно-вещевые выигрышные, молодежные премиальные, условные и на текущие счета.

● Вкладчикам выплачивается доход в виде процентов или выигрышей.

● Вклады принимаются сберегательными кассами без ограничения предельного размера. Минимальный размер первоначального взноса установлен в пять рублей.

● Вкладчик имеет право хранить вклад в сберегательных кассах страны неограниченный срок.

● Пополнить вклад можно в любой сберегательной кассе. По желанию вкладчика его вклад может быть переведен в сберегательную кассу другого города или района страны.

● Получить вклад можно не только в сберкассе, куда он был внесен, но и в центральной сберегательной кассе, которой подчинена эта касса.

● В ряде республик и областей страны вкладчик может получить часть своего вклада в любой сберегательной кассе данного города или района.

● Сберегательные кассы выдают вклады по первому требованию вкладчика частями или полностью. Вкладчик имеет право распоряжаться вкладом как лично, так и через своего представителя путем выдачи ему доверенности.

● Вкладчик имеет право указывать сберегательной кассе лиц, которым вклад должен быть выдан в случае его смерти. Вклад может быть завещан одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным предприятиям, организациям и учреждениям.

**Правление Гострудсбернасс СССР**